

ТТМ

ПИСАТЕЛИ О ТВОРЧЕСТВЕ

Леонид
Мартынов

**ПУТИ
ПОЭЗИИ**

*Леонид
Мартынов*

ПУТИ ПОЭЗИИ

Издательство «Советская Россия»

Москва — 1975

Библиотечка «Писатели о творчестве» выпускается по инициативе и при участии писателей, преподавателей кафедры творчества Литературного института имени А. М. Горького.

Состав редколлегии:

В. В. Дементьев — главный редактор, Б. В. Бедный, А. Н. Валсенко, Б. А. Галанов, В. М. Курганова, В. С. Курочкин, А. А. Михайлов, В. Ф. Пименов, С. В. Смирнов.

М 70302 — 163
М — 105 (03) 75 120—75

О ПРОЗЕ ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Самым легким решением вопроса — к какому жанру принадлежит эта книга, — было бы сказать, что это мемуары. Однако внимательный читатель увидит, что это не совсем так. Проза Мартынова — конечно же, проза поэта, который своеобразно «комментирует» те или иные события своей жизни, те или иные стихотворения, получившие известность не только в нашей стране, вошедшие в школьные хрестоматии, как например, «Прохожий» («Замечали, по городу ходит прохожий»), но и во многих зарубежных странах. И дело, мне думается, не только в этом авторском «комментарии», хотя и он представляет бесспорный читательский интерес, ибо выявляет те эмоциональные импульсы, те внутренние «толчки», благодаря которым и возникли, появились на свет многие превосходные произведения поэта. Дело еще в том, что Леонид Мартынов и в каждой новелле и в книге в целом стремится выявить, подчеркнуть «сквозную тему» творчества. А темой этой будет будущее или, как сказано в одном мартыновском стихотворении, умение «видеть грядущее въявь». Вот почему Мартынов довольно часто рассказывает о своих неосуществившихся замыслах, цитирует отдельные строчки или строфы еще не написанных, не законченных стихотворений, вводит в творческую лабораторию, где почти что на наших глазах возникают новые ассоциативные завязи и аллитерации, где творится чудо стиха. Конечно, не каждое такое начинание приводит к успеху. Но Леонид Мартынов считает, — и считает вполне справедливо, — что

неудачи столь же поучительны, столь же закономерны в общем процессе эстетического и художественного освоения жизни, постижения ее, как и самые блестящие открытия и находки. Ибо художник, преображая реальность в поэтические образы и символы, одновременно преобразуется и сам, то есть учится видеть эту реальность более стереометрично, более углубленно, чем прежде, учится из горечи поражений извлекать поучительные уроки, так необходимые для грядущих открытий. В манере, свойственной Мартынову, на вопрос — как мы пишем? — он отвечает: «Пишем мы разное, не всегда связно, порой безобразно, спотыкаясь о неизвестность, утыкаясь в тупики собственной неосведомленности, отвлекаясь от первоначальных замыслов к другим, последующим, проваливаясь в чертовы и не чертовы ямы, идя не прямо, а по спирали, но тем не менее вперед и вперед!» Вот этой сложной диалектике творчества и учат пути поэзии, по которым вот уже более пятидесяти лет идет выдающийся русский советский поэт Леонид Мартынов.

Объясняя причины возникновения автобиографической прозы, Мартынов полагает, что, видимо, появилась такая потребность досказать все, что не легло или что не ложится в стихи. И он по-своему прав, подчеркивая различия между прозой и поэзией, между «доступностью» одного жизненного материала средствами прозы, а другого — поэзии. Однако следует подчеркнуть, что при всем том большинство его новелл, невыдуманных рассказов отражает все присущие Мартынову именно как поэту особенности мировосприятия и мировоззрения: перевоплощения реальности, временные и пространственные сдвиги, увлечение звукописью, созвучиями наименований, яркой ассоциативностью, метафоричностью, «странностью» судеб и характеров героев.

К несомненным достоинствам прозы поэта следует отнести также его умение воссоздать саму атмосферу

времени, особенности быта, нравов, привычек жителей многих, многих городов и селений.

Книга дает возможность представить себе ищущую, мятущуюся, склонную к нравственному и духовному максимализму натуру молодого поэта. В качестве специального корреспондента газет и журналов Мартынов побывал в Западной Сибири, Казахстане, Средней Азии, на юге и на севере. Его рассказы о поездках, о встречах с людьми разнообразнейших профессий и национальностей, свойств ума и характера позволяют ощутить, чем жила страна в первые годы Советской власти, в годы нэпа, как шло социалистическое преобразование далеких и глухих окраин нашей земли. При всем том в новеллах, посвященных собственному литературному формированию Леонида Мартынова как молодого стихотворца, читатель имеет возможность познакомиться с целой плеядой сибирских литераторов и художников. Это эксцентричный, неуемный в жажде славы, но бесспорно талантливый «король писательский» Антон Соколин, это известный естествоиспытатель и поэт Петр Драверт, это прозаик и поэт-фантаст, один из зачинателей журнала «Сибирские огни» Вивиан Итин, наконец, это молодые живописцы Виктор Уфимцев и Мамонтов. Самодельным выставкам омских футуристов, выступлениям поэтов-будетлян Леонид Мартынов уделяет свое место, как и другим важнейшим событиям в культурной жизни Омска. Замечу, что наша современная литературоведческая мысль футуризм в целом рассматривает как сложное и многоструктурное явление. Однако прав Мартынов, когда он пишет, что «в школах — место школьникам». Смысл этого изречения заключается в том, что Мартынов никогда не принадлежал ни к каким школам или литературным группировкам. Что же касается некоторых выходов молодых поэтов и художников-омичей, эпатировавших обывателей и называвших себя футуристами, то здесь была еще страстная жажда творить новое, небывалое, сверхреволюционное искусство.

во. Этот «взрыв» революционного энтузиазма и воодушевления более чем понятен в творческой молодежи тех лет. Характерно, что ближайшие друзья Мартынова, такие, как художник Виктор Уфимцев, активные бюджетяне двадцатых годов, стали крупнейшими деятелями советской культуры в более поздние времена.

Леонид Мартынов отнюдь не упрощает, не схематизирует сложную обстановку предреволюционных и первых послереволюционных лет, в которой шло его духовное, нравственное и эстетическое формирование. Но он утверждает — не декларативно, не тезисно, а самым ходом своих размышлений, поисков и открытий — динамизм современной ему действительности и динамизм нового искусства, которое порождала эта действительность. «Ведь вот откуда мы взялись и выросли на чем», — так сказано в одном из стихотворений Мартынова, посвященном Октябрю. Он утверждает не только революционное «первородство» идей нового искусства, но и историческую преемственность, историческую взаимообусловленность большинства литературных, да и вообще культурных явлений и ценностей. Он подчеркивает особую роль, которую сыграл в его жизни молодой Маяковский, и не только Маяковский, вернее — не исключительно Маяковский, а также и Блок, и Брюсов и Каменский, и Хлебников и другие поэты начала двадцатого века.

Интересно отметить, что именно Маяковский помог Леониду Мартынову открыть глаза на Лермонтова точно так же, как Баратынский — правда, многим позднее, — позволил ему постичь своеобразную логику Велемира Хлебникова. Вот почему в эстетических привязанностях Мартынова необходимо видеть не только прямую, но и обратную причинную связь между различными историческими периодами. Особенно сложным путем идут его размышления в тех случаях, когда речь заходит о культурном наследии в целом, когда, например,

деревенский бытовой уклад, вызывавший в нем раньше нескрываемое раздражение, с годами не стал ни привлекательнее, ни ближе. Но, — пишет поэт, — «все-таки я думаю о том, что традиционная русская печь, может быть, будет восстановлена в этом или, может быть, в новом доме не детьми, но внуками Галины Михайловны» («Малиновый звон»). Само собой разумеется, что деревенская печь здесь играет роль обобщения тех сторон народной жизни, которые как будто бы обречены на исчезновение, но которые могут возродиться в будущем, вернее — проявиться в новых свойствах и особенностях.

Леонид Мартынов — энциклопедически образованный художник — широко использует в новеллах разнообразный «мыслительный материал». Именно так назвал Энгельс тот запас знаний, которым каждая эпоха располагает в качестве предпосылки, из которого она исходит и, обогатив, передает другой. Причем этот мыслительный материал в творчестве Мартынова окрашен подлинной эмоциональностью, это — эмоционально действенный материал. Стоит обратиться к переводческому опыту Мартынова, чтобы убедиться в этом. Мартынов как поэт-переводчик снискал известность и самое глубокое уважение во многих странах мира. Но, опять-таки не делая никакого секрета из ремесла, он вводит нас и в эту сферу своих многолетних занятий — пишет новеллу «Проблемы перевода». В этой новелле повествуется о мучительном, страстном желании перевести с французского на русский язык стихотворение «Пьяный корабль» Артюра Рембо, крупнейшего поэта Франции конца прошлого века. Это стихотворение, одно из величайших созданий всей европейской лирики, представляет для переводчика немалые трудности. Но Мартынов справился с ними и дал нам не только превосходный перевод, но и личное толкование стихов Артюра Рембо.

В новой книге Леонид Мартынов имеет в виду не

только молодых литераторов, студентов гуманитарных вузов, но вообще любителей поэзии. Однако он ни в коем случае не поучает и не наставляет, наоборот, он вышучивает любителей «назидательных воспоминаний». И все-таки один его дружеский совет я хочу привести в заключение: «Надо как можно ближе быть к жизни, ближе к современности...» Как бы ни была проста такая формула, она — глубоко действенна, ибо она верна.

Валерий ДЕМЕНТЬЕВ

МОЯ ЛАДЬЯ

Явственно помню: хотел построить лодку.

Древесины было сколько угодно, инструменты нашлись бы. Словом, всего хватало, но кто-то меня надумил, что необходимо прежде всего сделать чертеж. И я взялся за готовальню. Но линейки, рейсфедер и циркуль как-то не дались мне в руки, а более приглянулся простой карандаш, и я так и не создал чертежа будущей лодки, но на листе ватманской бумаги возникли у меня многочисленные изображения всяческих лодок, шлюпок весельных и парусных и даже моторных, и моторно-парусных яхт, и еще какой-то смоленогрудой ладьи, зарождающейся, подобно древесной Афродите, из золотой пены сосновых стружек.

Все это было в раннем отрочестве. Но и позже я всегда продолжал рисовать лодки и до сих пор люблю изображать их на полях рукописей, вырисовывая преимущественно, с кормы, с кранца, в таком ракурсе, чтоб на заднем плане возвышался высоко поднятый волною форштевень, лодочный нос! Лодка, устремленная вперед, но видимая с кормы, как бы в подтверждение той мысли, что «нам доступно посмотреть с кормы на берега, которыми владеем». Это, если читатель помнит, — концовка стихотворения «Корреспондент», стихотворения вовсе не о быстроходной яхте, так же как, в сущности, вовсе не о лодках, хотя они там и присутствуют, говорится и в стихах «Река Тишина» или «Переправа». Но тем не менее лодка, ладья, корабль, судно занимают достаточно значительное место в моем творчестве. Я, так и не построивший ни одной лодки сам, довольно много поплавал на кораблях речных, морских и воздушных, научился изображать их не только графически,

но и словесно. Но это уж разговор об осуществленных замыслах, а сейчас, вернувшись к рассказу о замыслах неосуществленных, о том, как я сам взялся построить лодку, я попутно поведаю и о тех замыслах, с которыми это связано было.

Пожалуй, самым первым замыслом было построить легкий челнок, чтоб на нем отправиться вверх по тихой Оми (Омь и значит по-татарски — тихая; вот, пожалуй, откуда потом и взялась река Тишина) — вверх по течению тихой Оми, мимо низко сидящего в ее пойме Луговского форштадта и нависшего над противоположным обрывистым берегом хулиганского предместья Волчий Хвост, туда, дальше-дальше, выше-выше по направлению к востоку, к заманчивым и загадочным для меня верховьям. Что там я бы искал? Конечно, я не знал этого и сам, когда задумал строить лодку. Меня еще тогда не занимала идея соединения истоков Оми каналом с истоками одной из рек Обского бассейна, об этом старинном проекте я узнал и написал целую страницу в омской газете «Рабочий путь» уж много позже. А сперва я просто мечтал, как буду погружать весла в медлительные коричнево-тягучие речные струи. Я тогда еще не мог и предполагать, что однажды въявь мне посчастливится плыть между багрянолиственными берегами Оми и что я буду искать взглядом на осенних отмелях позвонки, ребра и другие недостающие части скелета мамонта и рассказывать своему спутнику, машинисту колонийской водокачки дяде Мише, о том, как я уж побывал здесь в воображении, а этот суровый старый партизан, сидя на корме и держа на коленях череп ископаемого гиганта, будет ворчать: не выдумывай! Так случилось, и обо всем этом я напечатал очерк в журнале «Красная новь» уже в 1932 году... Но, возвращаясь ко дням, когда я задумал смастерить лодку, я с уверенностью могу сказать, что у меня тогда не было и другого замысла: построить лодку обязательно и в виде плоскодонки для того, чтобы легче протаски-

ваться по мелководью впадающих в Иртыш малых рек с целью исследовать возможность поднять их уровень для возрождения судоходства и даже боброводства. Этот благой замысел возник несколько позже, и я даже написал стихотворение «Наяды», в котором изобразил, как души этих речек — Камышловки, Чаира, Атмаса, Орловки, Окуневки и Бобровки — расселись в виде наяд на ступенях крыльца здания Западного Сибирского Пароходства, вопия о воскрешении, за что, кстати сказать, и был обвинен в мистицизме и печатно проработан. Это печальное недоразумение случилось гораздо позднее, а в те времена, с которых я начал повествование, я, пожалуй, грезил еще о возможности судождения по степным озерам. Так формулирую я это сейчас. Но тогда я мыслил не столь прозаично, а именно: озера прекрасны, плавать по ним великолепно! Но как перевезти на озера суденышко? Оно должно быть парусным, паруса должны послужить не только для плавания судна по водам, но и для транспортировки его по суше. То есть выстроенную лодку надо поставить на колесную платформу и воспользоваться устойчивым ветром, чтоб под раздутыми парусами лодка вместе с платформой самоходом достигла места назначения. А по окончании навигации, то есть дождавшись зимы, обратный путь можно осуществить уже на лыжах, на санных полозьях под парусами, по принципу буэра. Эти дикие грезы весьма волновали меня, и я даже мечтал о возможности побывать таким способом не только на озерах поблизости Омска, но и на озере Яровом под городом, имеющим заманчивое название Славгород!

Славгород! В конце концов я добрался и до него, позже и, конечно, не под парусами, а по железной дороге, придумав себе в начале двадцатых годов какую-то газетную командировку. Помню, какое тяжелое впечатление произвело на меня это бедное, истерзанное гражданской войной и последующими кулацкими восстаниями, человеческое поселение, так мало соответствующее

своему гордому названию. Жалкие, едва намеченные улицы, глинобитные мазанки... Но озеро, до которого я все-таки добрался по пустынной дороге, тепло приветствовало меня пенистыми волнами. И помню, что в некоей газетной статье я написал доброе слово о будущей славе хмурого, но хлебородного Славгорода, славе, которая если не целиком еще пришла, то, надеюсь, придет еще к этому славному городу. И да будут украшены парусами яхт просторы озера Ярового, как и просторы всех других степных соленых и пресных озер Сибири и Казахстана! Пусть обитатели всех этих вновь существующих и будущих городов на озерных побережьях, одевшихся в гранит и бетон, строят себе всевозможные яхты, шлюпки и гички, которые я лишь мечтал построить когда-то!

Да, мне грезились самые разнообразные модели суденышек: прогулочных, любительских, рыбачьих и спортивных. Пожалуй — все, кроме разве только тоболок. Вспоминая о своем равнодушии, если не об антипатии к тоболке, я думаю так: это очень удобная, мелкосидящая, легко разворачивающаяся на волне сибирская лодка, созданная таежным народом рыбаков и охотников, не пленяла моего воображения, как, до времени, не поманивал, не привлекал меня к себе и сам Тобольск... Далеким и по всем признакам унылым Тобольск, прячущийся где-то за серою тучей неба полуночи. Предреволюционный Тобольск — символ захламления. Тобольск революционных лет — дыра, годная только для обитания низверженных Романовых. Да, именно так думал я. Историческим прошлым Тобольска времен петровых, екатерининских, ершовских и декабристских я еще не интересовался. Даже сам Ермак Тимофеевич во дни моего детства и отрочества рисовался вовсе не тот, а совсем другой — не Ермак иртышских низовий, богатырь в кольчуге и шлеме, а Ермак верховий иртышских, Ермак с таинственным ватер-жакетом. Словом, Ермак за Павлодаром, пристань «Ермак»

на подступах к Двум Соленным Головам, как в переводе на русский звучит название Экибастуз. Об этих краях я с детства слышал немало слухов и толков: там-де, концессионер Уркварт установил эти самые ватер-жакеты для каких-то операций с привозимой по Иртышу алтайской рудой, которую он, Уркварт, как-то еще на рудниках обогащает и, таким образом, обогащается сам. Все это кончилось революцией. Но «Ермак» и «Экибастуз», разумеется, остались и манили мое воображение, как вообще все эти места, которым уже и тогда сулилось все более и более богатое будущее. И обо всем этом, а не о старой тобольской старине, я раздумывал и, таким образом, вовсе не грезил о каких-то тоболках с какого-то распутинского Тобола, текущего черт знает из какой-то глуши через темную, как и явствует из ее наименования, Тюмень. Конечно, я не был пророком, мудрецом о семи пядях во лбу, мыслителем-экономистом и кое-что не придумал, и не знал, и думать не думал. И вообще ни Тюмень, ни Тобольск как-то еще не ассоциировались у меня со сказочным Севером моих четких грез. Тобольск с его неугаданным еще нефтегазовым будущим до времени лишь тускло маячил где-то между югом и севером, и тоболка еще не играла на буром фоне слияния Тобола с Иртышом.

Таким образом, ясно, что в детстве и раннем отрочестве моем я не был мыслителем-экономистом и о семи пядях во лбу, не был стопроцентным пророком и кое-чего не предвидел, и знать не знал, и думать не думал. И не буду выдумывать будто собирался построить кораблик, чтоб отправиться по следам незаслуженно забытого ныне омского профессора Иннокентия Шухова на развалины Мангазеи и попутно открыть нефть и природный газ в Приполярье. Нет, о чем не мечтал, о том не мечтал, хотя впоследствии и воспел старый Тобольск, из которого, кстати сказать, мы собирались улететь в сентябре 1939 года на летающей лодке, то есть на гидросамолете! А уехать пришлось в автобусе сухопутьем

через бывшую распутинскую вотчину село Покровское на Тюмень. Так я все-таки заглянул в царство тоболок... Но много прежде этого я спутешествовал на пристань Ермак, — опять-таки по газетной командировке, — чтоб живописать русских и казахских богатырей современности, молодых представителей рабочего класса, потомков варнаков коряковских солеварен и пристанских грузчиков урквартовских времен. И помнится, что лодка, кажется, именно типа тоболки, все же присутствовала при этом, вися на флагштоке над кормой парохода «III-й Интернационал», на котором я и прибыл на пристань Ермак. Несомненно, я видел эту лодку сквозь окно кормового салона второго класса: она, наклонно вися под кормовым флагом, как бы плыла за мной по воздуху. Она сопровождала меня со дней нежного отрочества, эта ладья, которую я по праву мог бы поставить на свой экслибрис, если б имел обыкновение пятнать книги сим книжным знаком. Эмблема неплохая — ведь в ладье по ночам плывет по подземному океану и древнеславянское языческое солнце! И я с уверенностью могу сказать, что эта ладья, хоть и не была выстроена мною из дерева собственноручно, не только у меня была, но есть и остается поныне. Иначе сказать, я время от времени испытываю состояние пловца, возвращаясь к этому состоянию и как бы мысленно гляжу с борта лодки, — будь то ялик на Язуе или яхта на траверзе Ялты, либо на траверзе бухты Баракты; будь то лодочка, плывущая по одной из многочисленных земных Истр: по Дунаю, Танаису, Дону, — или ладья, в которой я отнимал весло у перевозчика Харона. То есть — уже без метафор, метаморфоз и ассоциаций — у каждого есть своя сквозная тема, продиктованная некими первичными, а может быть, даже и унаследованными переживаниями, ощущениями, желаниями, мечтами: взять в руки весло и грести, и править, вдруг неожиданно обнаружить, что у тебя в руках не весло, а перо!

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

...Я ищу начало, которое не было бы пустым, бледным повторением всего того, что я за полвека рассказал о себе в стихах — в «Балладе о Великом Сибирском Пути», на котором я родился, в поэме «Северное сияние», действительно озарявшем мои детские ночи, в стихах о доме Вальса, с чьей крыши я смотрел на город, в котором я рос и который сам рос на моих глазах.

В начале двадцатого века, с проведением железной дороги, Зауралье быстро заполнялось переселенцами из Европейской России, с Украины, из западных районов, и вполне естественно, что город Омск и его окрестности быстро меняли свой облик. И я с уверенностью могу сказать, что в том же 1910 году Омск представлял собой скопище людей по крайней мере двенадцати национальностей. Но, выписывая эту, по существу, совершенно правильную фразу, я все же не даю никакого представления о том, как выглядел въявь этот плоский, купающийся в соленой пыли гигантский пшеничный блин-город. Взять хотя бы тот же Никольский проспект, эту немощеную, глинисто-пыльную летом, весной и осенью глубоко слякотную, а зимой — волнообразную сугробную улицу между Казачьим садом и Казачьим кладбищем, ту самую улицу, на которой мы жили. В стихах «Дом Вальса» я уже поведал о вальсовских квартирантах: фрау Гофман с Датского телеграфа и ее нахлебниках — телеграфистах — латыше Озолине и, кажется, литовце Никопензиусе, и о другом вальсовском квартиранте — шведе либо норвежце Пальберге, и о ближайших соседях Вальса — финском пасторе Гранэ и степном султани Султани Султанове, ездившем играть на ипподром, и о лавочнице Яминой, обитавшей рядом, в доме отставного есаула Ерыгина. Но я не упомянул, что через дом от лавочки Яминой обитал в своем доме оптовый торговец сухими фруктами, ташкентский татарин Гарифов, и напротив лавочки Яминой была вело-

сипедная мастерская поляков Верниковских, соседствующая с домом поляков Капустинских, на задах у которых обитал с матерью своей и сестренкой умопомрачительный латышский мальчик Валдыш, который обогащал мой лексикон всяческими неологизмами живой разговорной русской речи.

— Заявляешь? — угрожающе спросил он однажды при встрече. И, сжав кулаки, голосом, задыхающимся от воображаемой ненависти, добавил: — Замри! Не возбуждай!

Это была приветственная формула так называемых «парижан» — хулиганья городских окраин. Валдыш произносил свои заклинания на чистейшем русско-«парижанском» языке, безо всякого латышского акцента. Но, между прочим, его приятели — «парижане» из прикладбищенского трущобного квартала, называемого Копырино село, пели такую частушку:

Парижане — ежики,
За голяшкой ножики.
Тыгарга-мотыгарга, Копырино село.
Не этой ли девчонке жилось весело!

Припев «Тыгарга-мотыгарга», как я узнал позже, являлся не чем иным, как несколько исковерканным припевом эстонской песенки, видать уж и тогда бытовавшей за Уралом, только ли в городах или уже и в деревнях — я не знаю. Знать это — это уже дело фольклористов, изучающих факты взаимовлияния культур народов Российской империи. Я же вспоминаю это только в связи с вопросом о национальном составе обитателей Никольского проспекта, в начале которого стоял Казачий собор, где меня когда-то крестили под сенью знамени Ермака Тимофеевича, выкраденного впоследствии атаманом Анненковым. А напротив Казачьего собора стоял костел, из которого доносились латинские песнопения, но помню я и голос экономки

ксендза, певшей во флигеле за этим готическим храмом:

С тамтой строны Вислы
Компалася врона,
Пан поручник мысле —
Это его жена.

Как мне потом рассказывали знакомые поляки, это был старый краковяк, занесенный за Урал еще ссыльными конфедератами в шестидесятых годах прошлого века.

Пани поручнику,
То не ваша жена,
То бедна пташина,
Называся врона!

Почти рядом с костелом стояла мечеть. И голос муэдзина с ее минарета перекликался порой с лютеранским дребезжающим колоколом кирки за Омью в крепости.

Вот сколько разнообразных мотивов и напевов лезло мне в уши в годы моего детства, наверное, для того, чтобы потом отозваться в моих будущих переводах с польского, с латышского, с литовского, с казахского, с татарского и еще бог знает с каких языков. Но все это я как следует ощутил только позже. А тогда, сколь ни величественно звучала «Аве Мария» под аккомпанемент легкомысленного краковяка экономки ксендза, сколь ни контрастно сочетались крики муэдзина с органной музыкой Баха из крепостной кирки, — все это проходило мимо моих ушей. Тогда меня как-то мало интересовали и крепость с ее киркой, кордегардией и уже не существующим Мертвым Домом Федора Достоевского, и знамя Ермака в Казачьем соборе, и парадные фанфары и трубы перед генерал-губернаторским дворцом в царские дни, когда степной генерал-губернатор и атаман казачьего войска, кажется Шмидт, принимал баев и важных правителей киргиз-кайсацких орд.

И совсем не интересовали тогда даже чучела степных птиц и лисиц, урманных медведей и балхашских тигров-джульбарсов в витринах музея Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества.

Меня интересовало совсем другое: техника! Причем техника в самом широком смысле этого слова — техника промышленная, строительная, какая только возможно, вернее, все, что касалось материальной культуры. То есть военные парады интересовали меня только с точки зрения устройства артиллерийских орудий местного артиллерийского дивизиона, наша соседка фрау Гофман была любопытна мне не сама по себе, а как особа, работающая на Датском телеграфе, чей кабель тянулся, как я слышал, на тысячи верст. Скандинав Пальберг занимал мое воображение, главным образом, как хозяин таинственного и блестящего «Дьябло и Пум Сепаратора», созвучного с авиатором, радиатором, карбюратором и не столько с императором, сколько с мелиоратором. А мальчик Клиот, с которым я позже учился в гимназии, интересовал меня не как грек, а как обитатель очень необыкновенного куполообразного дома, построенного его отцом, коммерсантом. Соученик старшего моего брата, гимназист Россинский, был мне любопытен как однофамилец известного авиатора. Братья же Трувеллеры, жившие над Иртышом, в конце Перевозной улицы, интересовали меня даже не как носители звонкой фамилии, но только как владельцы парусной лодки или как друзья владельцев двухмачтового суденышка с выдвигным килем — яхты «Хмара», самой большой иртышской яхты тех времен.

Не буду повторять, что я провел первые годы жизни в служебном вагоне отца и знал каждую водокачку между Челябинском, Омском и Каннском. И позже, когда отец уже перестал разъезжать по линии и прижился в городе как техник-строитель, я часто бывал с отцом то на вокзале, то в паровозном депо, то за

рекою в Куломзине, где возвышался элеватор, казавшийся мне похожим на какой-то сверхгигантский средневековый замок. Помню громадные паровые мельницы. Помню и далеко уходящий в ковыльную и соленозерную степь треугольник запасных путей за поворотным кругом, помню тупик, где я любил лазить на паровозы. Лазить на паровозы было лучшим развлечением моего детства. Я любил сопровождать отца, идущего по своим строительно-техническим делам в товарные пакгаузы, через которые проходило все в конце концов попадающее в городские магазины. Любил встречать поезда, особенно товарные. Ведь все, что появлялось в городе, прибывало по железной дороге — сельскохозяйственные машины, и автомобили, и локомобили. Даже аэроплан летчика Васильева, взлетавшего, кажется, в 1912 году с ипподрома, прибыл на железнодорожной платформе. Как же мне было не любить железной дороги, на которой я вырос, этой железной дороги, возглавляемой красноколесными, металлоголосыми локомотивами. Я очень увлекался ими, я рисовал их, я играл в них, я даже сооружал зимой их подобия из снега. И отец, лелея мечту, что я стану уж не техником, как он, а инженером путей сообщения, купил мне однажды прекрасный разборный атлас локомотива — компаунд. И я сказал отцу, что, может быть, и стану инженером, если не стану морским капитаном.

Но судьба решила по-иному. И эта судьба подстерегла меня не где-нибудь, а на гардеробе в «Сашиной комнате» — у дяди Саши, о котором я расскажу ниже.

На гардеробе в проходной комнате между столовой и передней лежали у нас навалом газеты, журналы и приложения к ним. Сваливались они туда потому, что не умещались на книжных полках в довольно тесной нашей квартире. Я, при помощи лесенки, лет, пожалуй, с пяти начал лазить на этот гардероб, будто на паровоз, чтобы рыться в журналах. Сначала меня интересовали только картинки, опять-таки техника: маши-

ны, аэропланы, автомобили, дирижабли, дредноуты; морские и железнодорожные катастрофы... Мне трудно припомнить, как от рассматривания картинок я перешел к попыткам читать тексты и познавать имена, которыми те или иные сочинения были подписаны. Это был очень сложный процесс. Я не помню такого времени, чтоб я не знал грамоты, — вероятно, я научился читать лет с четырех, но это вовсе не значит, что в семь-восемь лет я понимал смысл всего читаемого. Но кое-что я все же уяснил, так, например, уяснил, что кроме меня на свете есть еще один Леонид, Леонид Андреев, написавший рассказ о семи повешенных, которые, как мне объясняла бабушка Бадя, были революционерами вроде тех экспроприаторов, что хотели ограбить Омское казначейство в 1905 году, когда я родился. И так помаленьку, заглядывая в те или иные журналы или книги, разрозненные сочинения тех или иных писателей, я получал представление о том, что кроме окружавшего меня мира реальности существует еще малоизвестный мне мир книг и еще незнакомых переживаний. И вышло так, что с вершины гардероба мне открылись горизонты более широкие, чем даже с крыши нового двухэтажного дома Вальса. То есть я понял, что в городе кроме всяческих магазинов, где продаются велосипеды, пишущие машинки, сепараторы, глобусы, одежда, обувь, меха, есть книжный склад Вахрушева и на базарах книжные лавочки и развалы букинистов. И шляться по всем этим местам я начал, пожалуй, лет с восьми-деяти.

Я искал и находил многое. К чести своей должен сказать, что, отдав неизбежную дань сыщикам, как великим, вроде Шерлока Холмса, так и пятикопеечным, вроде Ната Пинкертона, Ника Картера и Пата Коннера, я недолго задержался на этом этапе. Я не ограничился детективами. У того же Конан Дойля мне даже больше Шерлока Холмса понравился романтический капитан «Полярной звезды» и исторические романы, а особенно

приключения бригадира Жерара. А у Эдгара По — не «Золотой жук», но «Приключения Артура Гордона Пима», читавшего таинственные овражные письма на роковом пути к Южному полюсу, откуда летели белые птицы, кричащие «Текеле-ли, текеле-ли!». Осмелюсь предположить, что во всей этой исторической фантастике меня занимали инстинктивно предчувствуемые проблемы грядущего: у Эдгара По, скажем, догадка о вулканичности Антарктиды, а у Конан Дойля в «Бригадире Жераре» комическое предызображение поклонника культа личности, тогда еще в лице Наполеона. Ведь грядущее все-таки подготавливается в прошлом.

Нечего и говорить о том, что, прежде чем я достиг десяти лет, я прочел все вышедшие к тому времени произведения Джека Лондона и Александра Грина. Кроме того, я познакомился с многими вещами Брюсова, Сологуба, но с прозаическими, с «Огненным Ангелом» и «Мелким бесом», а не со стихотворными. Потому что меня в те времена интересовало все, кроме поэзии.

Поэзия меня не трогала.

Классическая поэзия, трактующая о вещах и явлениях, не имевших никакого отношения к моему пыльно-снежному паровозно-пароходному зауральскому бытию, казалась мне прекрасно-далекой и величественно-скудной, почти в такой же мере, как поэзия символистов. И, в частности, прав был учитель словесности Кубышка-Борисоглебский, констатировавший, сразу же по поступлении моем в гимназию, отсутствие у меня даже малейшего интереса и внимания к поэзии.

Меня даже не очаровал Игорь Северянин, которым увлекались старшеклассники, соученики моего старшего брата. Не привлекли ни Бурлюк, ни Крученых. И как-то мимо глаз и ушей проходили даже стихи Маяковского, о котором я все-таки должен был иметь представление. Но до времени все это не доходило до меня — и все тут. Впрочем, теперь я догадываюсь, что заменяло для меня в те дни книжную поэзию.

Это, всего вероятнее, были мои сны, не имевшие ничего общего ни с детским моим увлечением техникой, ни с книгами, к которым я приохотился, ни с Конан Дойлем, ни с Леонидом Андреевым, ни с Эдгаром По, ни с Валерием Брюсовым. Суть в том, что я начал летать во сне. Началось это, пожалуй, с другого навязчивого сна, мучившего меня с самого раннего детства и возвращавшегося до тех пор, пока мне не объяснили его возможного происхождения. Мне чуть не с младенчества снилось, что за окном в саду появляются загадочные для меня фигуры, летящие, вернее, висящие в воздухе с раскинутыми руками, и другие фигуры — крылатые, но коленопреклоненные. Потом выяснилось, в чем дело: когда мне было полгода, в саду был склад могильных памятников, это было неосознанное воспоминание о них, и когда все разъяснилось, этот сон перестал сниться. Но прежде чем он перестал сниться, я во сне сам улетал от коленопреклоненных, то есть надмогильных ангелов, как выяснилось после. Таким образом, я еще до разъяснения и прекращения тяжелого сна научился уже летать в сновидениях. Не объясненный еще сон время от времени продолжал сниться, но в других сновидениях я уже летал без связи с тем сном, летал самостоятельно, весело, вольно, — летал — и все. Иногда над городом, иногда в каких-то зданиях, убирая, например, паутину из углов под потолком, иногда залетал за вершины больших деревьев, уклоняясь от мальчишек, стрелявших в меня из рогаток. Иногда вместе с няней моей Дуней, — она в распахнутой лисьей шубке, а я в оленьей дохе, а впрочем, чего уж тут врать — не в дохе, а в том-то и дело, что голышом, — летали над Северным полюсом, через полярное сияние, а иногда мы летали через радугу над Загородной рощей. Постепенно мои полеты становились все дальше и замысловатей. Это были прекрасные сны. Правда, мне снится, что я летаю и до сих пор, но очень редко, конечно, а тогда такие сновидения бывали

не реже чем два раза в месяц. И теперь мне кажется, что эти сны мне заменяли до времени не только поэзию, но и музыку, так славно свистел и пел ветер, когда летишь, летишь безо всякого аэроплана, сам по себе.

Однако поэзия только делала вид, что может оставить меня к себе равнодушным. Она только и ждала, чтоб забрать меня в свои руки, к тому же вернуть с небес на землю. Это случилось, насколько я помню, на второй год германской войны, когда Омск стал еще шумней и многолюдней за счет беженцев из Западного края, за счет госпиталей, один из которых и разместился в здании нашей гимназии, а мы перешли на вторую смену в здание женской гимназии. Словом, в те дни, когда военнопленные немцы, австрийцы и турки профилировали омские улицы, чтоб по ним, немощным, легче было маршировать солдатам обучаемых в Омске запасных частей, в дни, когда город наполнился эхом войны, — тогда-то я и прочел стихи Маяковского «Я и Наполеон».

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни

некоторые

дрожат, пугливо поворачивая

глаза, громадные как

прожекторы.

Это было то, что было мне нужно. Я думаю, не стоит тут объяснять, не стоит повторяться — я писал об этом не раз, описывал, что я испытал при чтении этих стихов. В глубоком тылу, в Омске, я приобщился к мировым событиям. И я стал искать Маяковского, искать по страницам журналов — тонких и толстых, новых и старых. И то, что я раньше пропускал мимо сознания, — все это более и более захватывало меня.

Полночь промокшими пальцами щупала
Меня и забитый забор.
С каплями ливня на лысине купола
Скакал сумасшедший собор.

Ведь этот собор в стихах Маяковского был и Казачьим собором, и кафедральным собором напротив здания судебных установлений и наискосок от омского казначейства. Я понимал, что Маяковский писал не об этих соборах, но выходило, что он писал и о них тоже. И мне стало ясно, что я с полным правом могу выкрикнуть то, что сказано дальше:

Кричу
Кирпичу,
Слов иступленных вонзаю кинжал
В неба распухшего мякоть, —

потому что мякоть этого распухшего неба висит и над кирпичными брандмауэрами Омска, над глянцевой слизью улиц, где перекрестком распяты городовые. И разве не мог я при виде этих смутных улиц, этих домов со ржавыми водосточными трубами и шелудивыми, ветшающими вывесками сказать на том же основании, что и Маяковский:

На чешуе жестяной рыбы
Прочел я зовы новых губ.
А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейтах водосточных труб?

Маяковский в то время привлекал меня вовсе не как футурист, а просто как художник слова, живописец и график слова, волшебник слова. С его помощью я понял, что такое поэзия вообще. Так, например, он открыл мне глаза на Лермонтова. Тогда, в детстве, я не любил Лермонтова, может быть, просто даже из-за скверных картинок, которыми были иллюстрированы его произведения. Иллюстраций Врубеля я еще не знал, хотя Врубель и был моим земляком, родившись в Омске на Тарской улице. Итак, я не интересовался Лермонтовым.

Но когда я прочел у Маяковского о том, что «причесываться на время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно», я оценил эту пародийную фразу, вспомнив лермонтовское: «Любить?.. Но на время не стоит труда, а вечно любить невозможно», — и Лермонтов ожил, перестав быть для меня только обязательным гимназическим уроком словесности.

Я сказал уже, что Маяковский вообще пробудил у меня интерес к поэзии, то есть, отыскивая его стихи, я стал внимательнее рыться в журналах и сборниках. И вот однажды, ища Маяковского там, где его не было, я наткнулся на шершавую квадратную книгу, в которой прочел эти написанные без знаков препинания строки:

Много погибло прекрасных грез
Это над ними плачут нвы
Сладкий Пан Любовь и Христос
Умерли Кошки мяучат тоскливо
Я не в силах скрыть своих слез.

Дальше говорилось о том, что тоскующий автор утешился, созерцая, как запорожцы пишут ядовитое послание турецкому султану, то есть глядя на известную и мне картину Репина. Это был перевод неведомого мне Эренбурга из неведомого мне Аполлинера. Эти строки, прочтенные темным слякотным вечером в годы германской войны, когда старшие толковали о смертях, поражениях и изменах, как-то меня утешили, пришлось мне по вкусу и в то же время опять-таки напомнили мне чем-то Маяковского: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека...» И мне кажется, что это детское впечатление, детское восприятие было не случайным: Аполлинер и Маяковский тех времен были уже не так далеки друг от друга.

Через Маяковского каким-то путем дошел до меня и Артюр Рембо. Может быть, просто одновременно? Возможно. Но возможно и другое. И даже не только возможно, но и весьма вероятно, что Давид Бурлюк,

знаток и любитель французской поэзии, читал Маяковскому Рембо, и интонации Рембо присутствовали в ранних стихах Маяковского. Это очень сложный вопрос, не разработанный в нашем литературоведении. Во всяком случае, так называемый перевод из Рембо Давида Бурлюка: «Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод, будет кушать камни, травы, сладость, горечь и отравы» — я узнал позже. Но, вообще-то говоря, Рембо и Маяковский похожи так же, как похожи во многом Маяковский и Петефи, Маяковский и Вийон, — все великие поэты похожи друг на друга своей непохожестью на кого бы то ни было.

Вот чем была набита моя одиннадцатилетняя голова, отвергавшая в те годы — в 1915-м и 1916-м — классическую поэзию, которую преподавал нам учитель словесности, добродушный Кубышка-Борисоглебский. Меня мало интересовало, как чуден Днепр при тихой погоде или как тиха украинская ночь, но зато весьма занимала так называемая «киевская» антология. Кстати, я думаю, что именно ее, эту антологию, начинавшуюся Тютчевым и Фетом, имел в виду Маяковский, восклицая:

Надоело!
Не высидел дома
Анненский, Тютчев, Фет.

Едва ли он мог не читать этого томика. По времени сходится. Я принял эти стихи с восторгом. И может быть, именно из-за них великолепный Тютчев оставался вне поля моего зрения чуть ли не четверть века, а Фета, каюсь, не оценил и по сейчас, хотя нынче, как известно, он в большой у нас моде.

Блока я называю своей второй, после Маяковского, любовью...

...Библиотекарша углубилась в журнал «Ребус», и ее меньше всего интересовал я, знакомый, примелькавшийся толстый мальчик, роющийся в книгах. А я уже не

помню, за что ухватился сначала — то ли за «Балаганчик», за пьесы Блока, то ли за «Стихи о Прекрасной Даме». Меловая «скорпионовская» бумага этого томика сверкала яснее снега за окнами мрачноватой казачьей библиотеки. А дальше все пошло своим чередом — я отобрал и попросил записать за мною все книги. «Смотри только не запачкай, когда понесешь домой, перетяни ремешком покрепче», — сказала библиотекарша. Она думала, что я беру для сестры, которой у меня и не было. Правда, у меня был старший брат, который брал книги, какие ему надо и где ему надо, сам по себе, а я сам по себе.

Итак, вскоре я знал о Блоке все, что мог узнать, прочел не только «Стихи о Прекрасной Даме», но в «Журнале для всех» и стихи его «Петроградское небо мутилось дождем...», о проводах солдат на войну, и еще многие другие стихи его, ранние и позднейшие, но, главное, я узнал о том, что «мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего». Наивно, но я это отнес к самому себе. Блок как бы приобщал меня к ощущению России, многое прибавив к моему представлению о ней, которую, в сущности, я так мало знал из своего зауральского далека. Блок дал мне ощущение Куликова поля, ощущение Руси. Он одарил меня, пожалуй, не меньше, чем Маяковский, и предчувствием надвигающихся событий, и — я не преувеличу, сказав, — предощущением близкой революции. Впрочем, это предощущение было в те дни у многих — и у больших, и у малых. Надо полагать, что в той или иной форме то же ощущал и Блок, подаривший меня, мальчика, поэтическим предощущением близкого переворота. Этим и объясняется возникшая близость.

Но, может быть, именно потому же между тридцатилетним Александром Блоком и мною, одиннадцатилетним мальчишкой, возникла и неожиданная преграда. И этой преградой было не что иное, как церковь. Как это ни странно звучит, а случилось именно так.

Потому что, чем дальше, тем больше, меня, живущего, так сказать, двойной жизнью, жизнью первоклассника-гимназиста и жизнью читателя взрослых книг, тяготила необходимость посещать церковь, ходить на молитву, на вечерни и обедни. И чем больше я узнавал Блока, тем неприемлемее становились для меня эти мотивы его творчества — и девушки, поющие в церковном хоре, и вербочки, и свечечки, все это, даже и не связанное с казенной церковностью, с гимназическим официальным богослужением под надзором классного надзирателя Терехи, нет, не только это, а сама по себе церковность, как таковая, блеск риз, запах свечей, ладана, запах духов и мехов прихожанок, ни в одной из которых ни в кафедральном соборе, ни в Казачьем соборе, ни около костела, ни около кирки я не мог отыскать и намека на Прекрасную Даму. Из того, что я только что написал, выясняется, кстати, что я просто не понимал как следует Блока. Может быть, это было связано с какими-то младенческими еще ощущениями, ассоциациями или тем навязчивым сном о висящих в воздухе с раскинутыми руками и крылатых коленопреклоненных, о чем я рассказывал на предыдущих страницах, или просто это вызвано было и немо поощрено некоторым вольнодумством отца, но, во всяком случае, у меня не было никакого желания входить в темные храмы, творя там бедный обряд. Наоборот, как бы под влиянием стихов Блока у меня лишь укрепился контакт с Маяковским, то есть мне хотелось не входить в храмы, а выбегать из них вместе с тем неназванным, который

из собора бежал,
когда
хитона обветренный край целовала плача
слякоть.

Так перед революцией через вторую любовь — к Блоку — я вернулся к своей первой любви — к Маяковскому.

НОВЫЙ ДЖЕК

Мне кажется, что следует здесь упомянуть и о том, что имя мое, а в юности и мое творчество, не однажды сопрягалось с джек-лондонским. И, конечно, я не отрицаю, что Джек Лондон влиял на меня. Но держу пари, что никто не знал, с чего это началось и в чем была суть.

Если начать с самого начала, так, может быть, я и сам не представлял себе, почему я, восьмилетний или девятилетний, вдруг стал гораздо благосклонней относиться к шестилетней либо семилетней девочке Лизе, жившей во флигеле на заднем дворе дома Вальса. Я до тех пор не обращал на нее почти никакого внимания, но когда она появилась однажды на улице в белой с красными узорами ненецкой, а как тогда говорили — самоедской малице, привезенной ей в подарок отцом, служащим пароходства, с Ямала, это решило все. «Ты — как индианка!» — сказал я. И к удивлению моей милой няни Дуни, знавшей, что я не охоч играть с девочками, я предложил Лизе играть с ней. «Мы будем с тобой играть в эскимосов! — сказал я. — Ты будешь дочерью снегов!»

Это я помню прекрасно. Не помню только, что это было прямо связано с Джеком Лондоном. Вероятнее всего, что раз я упомянул о дочери снегов, я уже прочел или попытался прочесть книгу под этим названием, но только не обратил внимания на имя ее автора. Известно, что так часто случается в детстве. Но как бы то ни было, я сразу же сообразил, что скопление затвердевшего снега между углами амбара и бани вполне годится для сооружения чума. И если не чум, то пещера, подобная внутренней полости чума, была вдохновенно сооружена. Я трудился не один, к этой работе был привлечен и брат Лизы Виктор. Мы провозились до вечера и разошлись по домам с тем, чтобы наутро встретиться в чуме.

Но утром Лиза явилась одна. «А где Виктор?» — спросил я. «Он не придет, — ответила Лиза, влезая во внутренность чума. — Его не пустили, — добавила она, усаживаясь в своей белой малице на снежную приступку в тесной пещере, и рассмеялась. — Слушай, я тебе все расскажу, только ты молчи!»

И я, улегшись перед ней так, что колени торчали наружу, потому что чум все-таки был тесен для двоих, видя перед своим лицом ее ноги в узорных северных пимиках, а над собой ее улыбающееся лицо, приготовился слушать.

— Я сегодня наблудила, — сказала она. — Я съела почти всю банку варенья в кладовке. А мама уже раз высекла, что я блужу. Вот я и съела почти всю банку, а немножко оставила и дала Виктору, а потом, когда узнали, заплакала и сказала, что это он съел, а когда его спросили, он сказал, да, ел, потому что и он ел, и папа его ударил тростью, мамонтовою костью, и не простил и гулять не пустил.

И она захохотала, довольная своей хитростью.

Я не скажу, чтобы от этого рассказа я был охвачен благородной яростью. Но все-таки, оказавшись лежащим на животе лицом к лицу с такой румяной хохочущей подлостью, я молча подался назад и выполз из чума на вольный воздух, отказавшись раз и навсегда играть в индейцев с этой коварной дочерью снегов, красный узор на чьей белой малице мне сгоряча показался даже кровавым. Конечно, это было преувеличено, но все-таки я решительно расхотел играть с такой коварной девочкой в благородных индейцев. И как-то само собой вышло, что вскорости я перенес свои симпатии с заднего двора вальсовского домовладения в дом напротив.

Там в семье своих родителей жили барышни Капустинские. Не помню, чем занимался их папа, но, по всей вероятности, это были интеллигентные люди. Дочери их, гимназистки, девушки чуть ли не вдвое старше

меня, привлекали меня своей ласковостью. Я на правах ребенка-соседа нередко забегал к ним поговорить о разных разностях, заглянуть при случае в их книги. Тут-то, мне кажется, я помню ясно, что промелькнул передо мной в своей белой прометеевской обложке «Белый клык», но меня занимало как-то не это, не столько книги, сколько невинные разговоры. Конечно, это походило на подобие тайной детской влюбленности, ухаживания, то есть, собираясь к ним, я начищал до блеска ботинки, тщательно причесывался и, как утверждали, смеясь, моя мама с нянькой Дуней, даже будто бы разглаживал несуществующие усы. Этого не было, но душиться действительно я душился, и если сперва появлялся у Капустинских просто так, с пустыми руками, то с течением времени, помню, стал приносить им то гроздь сирени, то осенний букет из нашего сада, что и принималось с должной благодарностью. Тут было все мило и просто, безо всякой хитрости, жестокости или коварства, пока, кажется, уже в начале войны, не появилось в этой тихой обители существо, сразу нарушившее мое благополучие. Я не знал, откуда она взялась, эта смуглая гордячка, скорее всего из Варшавы или вообще из Царства Польского, вероятнее всего беженка, но, может быть, даже и вовсе не так. Только помнится, что, когда я однажды явился, кажется опять-таки с живым цветком, эта новоявленная девица, рассеянно выхватив его у меня из рук, усадила меня, довольно уже увесистого, себе на колени, безразлично чмокнула в губы и так же индифферентно погнала после этого прочь. Я был оскорблен и подавлен этим актом снисходительного насилия, тем более что в доме, как оказалось, были еще какие-то гости, и мне ничего не оставалось, как уйти восвояси со стыдом и обидой. И, кажется, я больше не заглядывал туда, где воцарилась насильница.

Но каково же было мое смущение, когда, уже поступив в гимназию и перейдя во второй класс, я об-

наружил, как мне показалось, что учительница французского языка мадемуазель Кучевская — не кто иная, как та самая смуглая девица, обидевшая меня у барышень Капустинских. Более того, я понял, что став моей учительницей, она сделается моей мучительницей. Дело в том, что она сразу взяла с нами, младшеклассниками, весьма резкий тон. Она так и объявила, что в случае невнимания и плохих успехов она будет весьма строга. Что она хотела сказать, было, в общем, неясным, но было ясным, что нрав ее весьма и весьма крут. И я заметил, что она выгоняет учеников из класса с той же равнодушной легкостью, с какой когда-то выставила меня из дома барышень Капустинских, вырвав из рук не ей предназначенные цветы. И вот теперь она ставит двойки почем зря и, к счастью, не помня меня в лицо, вlepила однажды мне даже кол и кричала, что будет наказывать еще строже! Я понимал, что наказывать строже, чем колом, она едва ли сможет, времена уже были не те — тут разразилась революция, — но все-таки все мое существо клокотало против ее деспотизма. Может быть, я из-за этого и не усвоил начал французского языка так, как смог бы их усвоить, именно потому, что она была мне решительно неприятна, а может быть, просто она и не умела преподавать. Но во всяком случае, ее тон не вызвал во мне ничего, кроме протеста и нежелания учить уроки, хотя вместе с тем она начала мне даже чем-то и нравиться. Но вот тут-то, я думаю, и сыграл опять во второй раз в моей жизни некоторую роль Джек Лондон. В то время, уже прочтя много разных книг, читая, как принято выражаться, запоем, что, может быть, тоже отрицательно влияло на мои успехи в изучении французского, я в своем воображении начал уподоблять француженку Салтычихе. Но и кажется, даже прямо на уроке французского языка я прочел маленькую, портативно изданную книгу Джека Лондона «Приключение», — роман, в котором описывалось единоборство мужчины и женщины, и само-

надеянно подумал: а не вступить ли и мне в славное единоборство с этой яростной амазонкой, благо, что мадемуазель Кучевская носила именно шляпку-амазонку. Усвоив этот порожденный чтением Джека Лондона коварный план, я стал приходить на уроки, улыбаясь загадочно и как бы предчувствуя трудную, но все же возможную победу. В общем, это походило на разглаживание несуществующих усов. И не представляю, какие бы это все приняло формы в дальнейшем, но победителем француженки оказался не я, а Никифоров.

Никифоров был ученик, появившийся в нашем классе благодаря революции. Он не был кухаркиным сыном; но был сыном ломового извозчика, принятым в гимназию в связи с происшедшим социальным переворотом. Этот мрачный, с лицом в оспинах, мальчик прекрасно понимал свою историческую роль и так же, как и я, очень не полюбил француженку. И вот однажды, дело было вечером, мы учились на второй смене в здании женской гимназии, при плохом освещении, в тот вечер даже кажется при перебое электричества — при свечах, Никифоров, раздраженный очередным окриком француженки, произнес с «камчатки» ужасное ругательство. Прозвучавшее с задней парты полутемного класса, оно ошеломило мадемуазель Кучевскую. «Что я слышу!» — растерянно произнесла она и, не дожидаясь ответа, убежала из класса. Так скрылась с моего горизонта учительница-мучительница, непокоренная джек-лондонским методом. Она исчезла, Никифоров остался, никаких последствий вообще не было, дело замаяли, вместо Кучевской на следующий урок французского языка явился тишайший учитель старших классов осибирившийся француз мосье Реми.

Этот безобидный старец продолжал мне втолковывать красоты стиля повести «Без семьи» Гектора Мало уже и тогда, когда рябой Никифоров давным-давно ушел из гимназии, вероятно, в красногвардейцы. За два бурных года, за годы всяческих Комучей, Сиблоблдум,

Директорий и колчаковщины постепенно разбегались и другие ученики нашего класса, кто куда. Я, в начале двадцатого года тоже бросив школу, ушел из нее в литературу. Но тут-то, в начале двадцатых годов, и произошел ряд событий, в силу которых я пришел к истинному пониманию славного калифорнийца. В этом сыграла решающую роль судьба розовощекого Бориса.

Не помню уж, при каких именно обстоятельствах я познакомился с этим мальчиком, розовым, как девочка или цветок. И этот цветок расцветал в теплице, малопохожей на идиллическую оранжерею. Я был неприятно поражен ветхостью, мрачностью и захламенностью того дома, куда меня повели в гости к Борису, который и был представлен мне как «тоже поэт». Так было все в этом доме похоже на недавно прочтенный мной «Голый Год» Бориса Пильняка. И в этой типичной, как я сообразил, пильняковской обстановке, облокотившись на расстроенное пианино, над которым висел увеличенный фотографический портрет покойного отца семейства, юный розовый отпрыск этого семейства, Борис прочел мне стихи в духе времени, в стиле Мариенгофа.

Мать Бориса, пергаментно-желтая деятельница Наробраза, гордая своим шкрабством, разлила по фарфоровым чашечкам морковный чай. Сестра Бориса, смешливая девочка, сидя на корточках в уголке, топила «буржуйку» дощечками от забора. А за перегородкой другая сестра Бориса, постарше, кутаясь в полушубок и куря махорку, сидела над книгой. С этой книгой в руках она и вышла к чайному столу. И я помню, как Борис, взяв из рук сестры эту книгу, еще более порозовел и кинул, как мне показалось, досадливый взгляд на сестру.

— Да, редкая книга, — сказал Борис, — что тут скажешь, любопытная книга, — и тут он бросил уничтожительный взгляд на сестру. — Ценная книга! «Пол и характер» Отто Вейнингера! Он пришел к выво-

ду о неполноценности женщин и вследствие этого на двадцать третьем году жизни покончил с собой.

И, высказав это, Борис перевел речь на другое. Он сказал, что он скоро уедет, его прошение о зачислении студентом в иногородний университет удовлетворено.

Дальнейшие события припоминаются мне так: я имел еще несколько встреч с Борисом, а затем он уехал, и все радовались, что он попал в вуз. Но вдруг пришло сообщение о самоубийстве Бориса. Откуда-то добыв револьвер, он загадочно застрелился.

Я пошел к его матери, чтобы выразить свое сочувствие, сказать много хороших слов о ее сыне. Но не дойдя до этого дома, столкнулся с его владелицей лицом к лицу. И она, еще более пожелтевшая и постаревшая, не дожидаясь моих речей, спокойно и даже, как мне показалось, почти что кротко произнесла:

— Да, Борис застрелился. И вам всем тоже надо застрелиться.

И улыбнулась.

И услышав эти слова, увидев эту улыбку, я не удивился, не рассердился, а как-то все вспомнив, как-то прикинув все разом, будто бы припомнив целый вихрь всяческих книжных обложек и названий и текстов, молча раскланялся с безумной женщиной, затем повернулся и пошел в противоположную сторону.

Но это просто сказать: пошел в противоположную сторону. А если, не вдаваясь в излишние подробности, рассказать об этом точнее, то дело было так.

Сперва я пошел к реке, как бы для того, чтобы смыть с себя тяжесть происшедшего. Я достиг берега, разделся на глыбах разрушенной дамбы, сошел в воду, окунулся, поплыл. Но вода показалась мне совершенно мутной и дико теплой, как пиво, которого мне и захотелось выпить вместо купанья. И, выбравшись на сушу, я ринулся в кабачок. Там играла музыка, но пиво, увы, показалось мне мутным, пресным и дико

теплым, как иртышская вода, в которой я его возжаждал...

И таким же мутным и пресным казалось мне на следующий день — да и не только на следующий, но позже, — все, с чем я ни соприкасался. Короче говоря, я не знал, за что взяться. И говоря еще короче, это длилось до тех пор, пока однажды совершенно машинально я не углубился в чтение как бы случайно попавшегося мне на глаза Джека Лондона, вернее, в перечитывание «Джона — Ячменное зерно», или «Джона Барлейкорна», или «Зеленого змия». Я, право, не помню, под каким названием попался мне в руки этот перевод автобиографической повести Лондона. Читая эту книжку, я испытал потребность перечитать и «Мартина Идена», а вслед за тем я перечел и «Морского волка». И в процессе чтения я, наконец, вдруг ощутил, зачем я это делаю, я понял, что углублялся в стихию лондоновского жизнеутверждения не почему-нибудь иному, а для того, чтобы рассеять, уничтожить ту оскомину, которая осталась у меня от всей этой жуткой истории с Борисом и от страшной последней встречи с его матерью.

Но отдав себе отчет в этом, я вдруг понял и другое. Джек Лондон, тот, которым я как бы лечусь, исцеляюсь от всего этого — ведь он, жизнелюбивый Джек Лондон, и сам покончил с собой! Правда, существуют и другие версии его гибели, но тогда была в ходу именно эта!

И белый день словно померк перед моими глазами. Белая обложка «прометеевского» издания «Морского волка» вдруг показалась мне черной обложкой, на которой серыми, как волчья шкура, буквами напечатано имя автора.

Так как же быть? Неужели права мать самоубийцы? Неужели перед всеми, перед больными, равно как и перед здоровыми, может возникнуть тень самоуничтожения!

«Нет!» — подумал я.

И, дико рассердившись на все на свете, на беспомощное несовершенство этого мира, я представил себе утопающего Джека Лондона (писали, что он утонул, утонул!). И, вспомнив, как я купался после достопамятного разговора с матерью самоубийцы и что иртышская вода показалась мне мутной, как пиво, я схватил перо и написал:

Опять вода идет на прибыль,
Мир беспокойно нереален,
И не поймешь, сирены ль, рыбы ль
Глядят сквозь прорези купален.
Я знаю случай с рыбаками
Сирен ли услышали, рыб ли,
Но с распростертыми руками
Метнулись за борт и погибли.
Но вот возьму сейчас разденусь
Да ринусь головою в воду.
Авось, я никуда не денусь,
А плавать я умею сроду!

Вот откуда взялась моя пресловутая близость к Джеку Лондону, вот откуда возник образ нового Джека, до сих пор с легкой руки Вивиана Итина повторяемый литературоведами.

КАК МЫ ПИШЕМ

Как мы пишем?

Я только что отказался от предложения еженедельника «Литературная Россия» написать для них статью на эту тему. У них в еженедельнике завелась такая рубрика. Рубрика! «Как мы пишем». Я раздраженно сказал, что нет у меня времени писать о том, как я пишу, ибо надо писать то, что я пишу. Я сказал, что писать о том, как мы пишем, — это дело критики, а не наше...

И если все-таки я берусь за перо, то делаю это не с назидательной целью: вот, мол, как я написал известные вам свои произведения, а скорее наоборот для того, чтоб напомнить — и прежде всего самому себе — о том, что у меня не дописалось до конца, или, по тем или другим причинам, не нашло себе места в тех книгах, которые уже сделались достоянием читательским.

Начать хотя бы с того, что у меня будто бы была поэма «Повелительница барантачей». Но как я удивился этому сам, перечтя однажды статью Вивиана Итина, в которой он упоминал о наличии именно такой моей поэмы в начале двадцатых годов. Я забыл о ней начисто: о чем она. Но тем не менее возможно, что она и была. Ведь так много исчезло как будто бесследно. Ведь затерялся же, исчез «Золотой легион» — поэма о чешских легионерах, соратниках Гайды, сбросавших своих обманутых сибирских жен на Дальнем Востоке и за это наказанных айсбергом, который настиг, протаранил и потопил их транспорт в Великом, или в Тихом океане... Об этом случае, якобы, имевшем место в тропиках, немало толковали в свое время в Сибири. Но из этой фольклорно-достоверной, хотя еще мальчишеской поэмы я помню лишь эффектную концовку, четыре строчки из монолога спасшегося легионера: «Я знаю — нелеп и смешон мой рассказ, но только ночью, вчера, в тропическом зное ударила нас, клянусь, ледяная гора». Точно так же, как запомнилось мне лишь начало другой поэмы тех времен, — «Чертова яма»: «Я сам уроженец Сартлама и слышал от горожан, что проклята Чертова яма, угрюмый степной котлован. Но вот, возвратясь из-за моря на родину, в город Сартлам, я вижу на каждом заборе цветные полотна реклам. Брожу я, взволнован рекламой с рисунками дьявольских морд о том, что над Чертовой ямой открыт первоклассный курорт...» Речь шла о действительной попытке дореволюционных сибирских дель-

цов создать над неким грязевым озером коммерческую грязелечебницу с рестораном. Все дальнейшее содержание повести касалось как будто бы только моих личных переживаний на берегу этого в начале двадцатых годов пустынного озера. Но теперь я понимаю, что суть дела была не в курорте, который, прогорев в действительности перед революцией, когда я был еще ребенком, эффектно сгорел в моем пламенном воображении...

Это случилось в порядке крушения всего Сартлама, то есть вымышленного мной, — по названию соседнего урочища, — места, которое олицетворяло для меня до-революционные порядки Сибири и всех прилегающих к ней среднеазиатских владений бывшей Российской империи. Словом, романтическая ледяная гора в океане и вымышленный город в степи имели прямое отношение к той действительности, меняющейся на моих глазах, творцом которой я был и сам. И если я вносил в нее некий фантастический сказочный элемент, то именно потому, что он в ней был, как, впрочем, остается и вечно. Другое дело, что это сказочно-фольклорное начало отступало у меня, вдохновлявшегося Маяковским, а все-таки не Хлебниковым, все более и более на второй план. Фольклору сел и деревень я предпочел фольклор городских окраин, но все это далеко не сразу воплощалось в формы, и притом в формы, далеко не всегда удачные, а чаще просто наоборот.

Так, например, случилось с поэмой «Золотая лихорадка», в которой от всех идиолов, тигров, самородков и прочих романтических затей осталось у меня лишь ощущение весеннего позднего снега, реального майского снега, в реальном городском садике, перед окнами одной моей знакомой: «Майский снег упал, и в белый сад вышли Вы и гневались на бога. «Скушен этот белый маскарад и ненужен», — Вы сказали строго». Но и этот образ был впоследствии переосмыслен совсем по-иному в стихотворении «Я родился в начале мая»: «...Но и снег в середине мая — даже он, говорят, к урожаю!»

Вот что осталось от целой романтической поэмы, канувшей в заслуженное забвение. Однако мне кажется, забвение, может быть и незаслуженное, обрела другая поэма, вернее — сказка, тоже в сущности о белом снеге: «Зима в Багдаде». К этой теме я подбирался с давних пор, еще с конца двадцатых годов. Поводом послужили известия о суровых зимах на Ближнем Востоке, почерпнутые из свежих газет, а также почерпнутые из старых книг факты о стародавних связях арабов со славянами (труды Аль-Масуди, Ибн Фаблана и др.). Все это вместе взятое, а также мои личные ощущения Сибири, Урала, Поволжья и послужили поводом для сочинения стихотворного рассказа о дружбе некоего славянского гостя Игоря, с русского подворья в Багдаде, с супругой знаменитого калифа Гарун-ар-Рашида — Зобейдой, которая простудилась при внезапных морозах и потребовала лекарственной северной шубы. Вследствие чего и состоялось путешествие Игоря на ковресамолете к легендарной Златой Бабе на низовья Оби и появление этой самой обдорской красавицы в Багдаде.

Все эти произведения не входят в число моих широкопризнанных творческих удач, не перепечатываются в сборниках. Я мог бы упомянуть еще о целом ряде таких вещей. Но скажу кратко: каждое из этих забытых юношеских моих и не юношеских, но несовершенных произведений, я уверен, может служить ответом на вопрос: «Как мы пишем?»

Пишем мы разное, не всегда связное, порой безобразно, спотыкаясь о неизвестность, утыкаясь в тупики собственной неосведомленности, отвлекаясь от первоначальных замыслов к другим, последующим, проваливаясь в чертовы и не чертовы ямы, идя не прямо, а по спирали, но тем не менее вперед и вперед! Что не кончено в одном, то продолжается в другом произведении. Так, например, «Дукс Иван многогрешный и непотребный», то есть Иван Катырев Ростовский, которо-

му оказалось тесно в огромной поэме, нашел себе воплощение в короткой главе прозаической «Повести о тобольском воеводстве». От «Юного Йона» — громадной стихотворной повести о моем приятеле, латыше Яне, осталось небольшое стихотворение «Сестра», в котором говорится о бегстве комиссара из колчаковской тюрьмы. И наоборот, «пилот от неба голубой», только промелькнувший в забытой поэме «Москва» конца сороковых годов, вдруг в должный час ожил в образе космонавта, когда перед взором всего человечества действительно и въявь явился «в своем комбинезоне красном пилот от неба голубой». А вот казахский мальчик Айдаган, из юнощеской моей поэмы «Зверуха», переместился из революции 1905 года во времена пушкинские и стал учеником школы толмачей Увенькаем, а сама Зверуха из генерал-губернаторши преобразилась в архиерейскую племянницу. Словом, через все мое творчество проходят, как бы преображаясь из своих предков в потомки, а иногда и наоборот из потомков в предки, обладатели тех или иных характеров, те или иные интересующие меня лица, так или иначе, прямо или исторически связанные между собой, и, конечно, — мной. Вот почему мне кажется, что даже исчезнувшая, как бы бесследно забытая мной до последней строки «Повелительница барантачей» преобразилась впоследствии в сумму таинственных всадниц, в лисьих малахаях и корсетах с китовым усом под овчинными шубами, из новеллы «Смертельный мошка». То есть я предвидел этих действительно существовавших, исторически обусловленных обитательниц Большого Черного Дома, догадывался о возможности их существования раньше, чем углубился по своим газетным турксибо-строительным делам в Казахстан. Я предчувствовал их, этих печальных амазонок поневоле, точно так же, как, например, предчувствовал открытие подземных морей Казахстана. Существование же этих оазисов, этих подземных морей, как мы увидим далее не только казахстанских, я пред-

видел, вероятно, и потому, что по-детски внимательно следил в свое время за гидротехнической деятельностью своего отца, пытливно заглядывал в его бурильные скважины. Может быть, именно поэтому мне позднее повезло не пропустить мимо глаз и маленькую заметку в какой-то газетке — сообщение о том, что томские ученые где-то под Омском или, наоборот, омские ученые где-то под Томском обнаружили наличие мощных подземных резервуаров. Но это случилось позже того, как я, романтический воспеватель Чертовой ямы, скиталец по солончаковым казахским степям, написал и напечатал стихи «Море было»: «...Море было и назад вернется...» Наличие этих стихов дало мне право еще много и много позднее провозгласить:

Меня считали фантазером,
Который вечно ходит вброд
По иссыхающим озерам,
Все делая наоборот.
Вставала из сухой полыни
Континентальная заря,
Но я-то знал: среди пустыни
Найдем подземные моря...

Цитирую, может быть, не точно, но мне кажется, что поначалу это звучало именно так. И вообще возможны телефонные звонки из редакции, запросы отдела сверки: «Приводимые Вами строки разнятся с текстом стихотворения, напечатанного в таком-то сборнике. Как прикажете быть? И кроме того — в каком году и где было напечатано стихотворение «Море было», а так же когда именно, и в какой газете напечатано было сообщение об открытии томскими учеными под Омском, или омскими учеными под Томском подземных морей?

Не помню точно, но могу ответить: если надо — попытайтесь разыскать, а меня простите, мне нельзя

терять на это время потому, что оно уходит все быстрее, а мне нужно написать еще много-много... Закончить хоть бы начерно еще целый ряд важных, незавершенных замыслов. Ведь кроме морей подземных есть еще и моря земные, и средиземные, и подледные, и до сих пор неосвоенные Атлантиды подводных горных массивов, и лукоморья речных дельт и морских заливов. И кому, как не мне рассказать об этом — думаю я, мечтаю я. А что я! Ведь я так и не написал до сих пор толкового повествования, скажем, о том, как некий известный мне чудодей носился с проектом прорыть канал через Ямал, да, именно через Ямал, чтоб направить воды Оби в Байдаратскую губу Карского моря, отеплив, таким образом, этот залив и сократив путь кораблей из Сибири на Мурман. Этот канал нужен был для того, чтоб стало удобнее вывозить сибирские лес и хлеб, грозя буржуазной Европе революцией цен. Так восклицал он, капитан и владелец яхты «Гала-Лия»! Но шли слухи, что этот старик с несколько нерусской фамилией был если не сам делец, то игрушка в руках других дельцов, которых интересовала не революция цен в Европе, а обдорская пушнина. И, грешен, в свое время не выяснил этого вопроса до конца, а затем, не имея данных ни оправдать, ни обвинить этого прожектера, но все-таки думая о нем и о его возможных исторических прототипах, я написал целых две поэмы, проводя кое-какие иносказательные исторические параллели — сперва о некоем Елтоне, который в Смутное время подвизался на Руси, а потом несколько позже еще написал и другую поэму «Патрик», в которой встречаются два потомка обрусевшего иностранца — ирландца Патрика некие Патрикеевы, один из коих, разбогатевший, становится кулаком, а другой — из семьи, не пошедшей по пути обогащения, делается в конце концов чекистом. «Распутал я событий нити и в тайны прошлого проник. Вы мой рассказ переведите теперь на английский язык!» — горделиво закончил я эту по-

весть. Насколько мне известно, перевода «Патрика» на английский язык не появилось и до сих пор, но хорошо, что, наконец, я вспомнил об этой старой своей поэме, повествующей о конфликте не только фамильном, но и социальном. А вспомнив об этом, вспоминаю о необходимости завершить, наконец, повествование и о другом конфликте, о конфликте, возникшем между современником воображаемого Патрика, действительно существовавшим, всемирно известным англичанином сэром Френсисом Беконем, лордом-канцлером Великобритании, грешником и мотом, и тем же самым Беконем, автором знаменитой утопии «Новая Атлантида», философом и антисхоластом. Надо бы сделать все это! Но хватит ли у меня фактов, информации, наконец, вдохновения?

Не знаю. А знаю лишь одно: надо как можно ближе быть к жизни, ближе к современности, хотя мои читатели и могут без особого труда заметить, что я как был, так и остаюсь, даже в своих исторических произведениях, даже в своих исторических замыслах, в какой-то мере близок к нашему сегодняшнему дню. Об этом, как говорится, свидетельствует все вышеизложенное. Ведь прежде чем выпустить первую книгу стихов, — я почти на десять лет раньше напечатал книгу очерков о нашей жизни, о социалистической перестройке бытия в Сибири, книгу очерков под прозаически-эффектным названием «Грубый корм».

ЛУКОМОРЬЕ

...Откуда я получил первые сведения о Лукоморье?

Наверняка из той энциклопедии чудес, которая называется творчеством Пушкина. Конечно же, я узнал про дуб зеленый, и про цепного кота и про русалок

много прежде, чем уразумел, что все это написано ямбом. К факту существования Лукоморья я отнесся со спокойным доброжелательством, как и должны к таким вещам относиться любознательные и грамотные дети. Описывать это едва ли интересно, но любопытней другое, — как я чуть было не отвратился от Лукоморья по причинам, не имеющим отношения ни к Пушкину, ни к фольклору, а относившимся к текущей политике, к черной злобе дня. Это было уже в дни первой мировой войны, когда я купил в киоске свежий номер нового журнала под заманчивым названием «Лукоморье», приглянувшийся мне за красочность, а старший брат, брезгливо поморщившись, сказал: «Нашел чем любоваться! Суворинская стряпня!» Я, по молодости лет, не совсем понял, что значит «суворинская стряпня», но, в общем, не имел оснований не доверять брату. Он, конечно, был прав: в любом современном справочнике можно прочесть, что журнал «Лукоморье», вышедший в 1916—1918 году, был изданием буржуазно-шовинистическим. Это проверял я теперь. А тогда, после слов брата, мне просто показалось, что стряпня неведомого мне Суворина действительно мало интересна, что краски грубы. И образ Лукоморья как бы померк в моих глазах.

Затем в течение нескольких лет — бурных лет революции, гражданской войны и разрухи — я вообще как-то не думал и не вспоминал о Лукоморье, во всяком случае, мне ничего в этом смысле не припоминается, кроме разве только очень смутного образа какого-то поэта, может быть, юмориста, баснописца, газетчика первых лет Советской власти, принявшего, несомненно, на манер Демьяна Бедного, псевдоним Лука Лукавый. Во всяком случае мне явственно вспоминается, что интерес к Лукоморью, — уже не к сказочному и не журнальному да и вообще не к далекому, а к близкому, — вернулся ко мне или возник заново в связи с газетной моей работой, помноженной на чтение исто-

рико-экономических источников и материалов. Я помню, например, с какой бесцеремонностью я отобрал у неизвестного Антона Сорокина книгу профессора Довнар-Запольского «История русского народного хозяйства». «Вам это ни к чему—сказал я,—а мне необходимо!» — «Берите, берите», — отвечивал Антон Сорокин и даже сделал на книге дарственную надпись. Но я не ограничился чтением этой книги, а углубился в чтение еще многих других, в которых так или иначе упоминалось о старых преданиях про меховые полунощные края, где возвышающиеся до небес горы заходят в луку студеного моря. В луку Моря! Это Лукоморье новгородских летописных преданий естественно сливалось в моем представлении с рассказами геологов о красотах пьезокварцевого кристаллически мерцающего Приполярного Урала, о старых «чрезкаменных» путях с Печеры на Обь, морских дорогах к златокипящей Мангазее былых времен, то есть о местах деятельности моряков Убекосибири и карских экспедиций Комсеверпути, хорошо мне знакомых по зимним своим омским квартирам. «Край полунощный богат! Где снегами берег вспенен, там олень вдвойне рогат, соболь трижды драгоценен!» — писал я в первой половине двадцатых годов о краях, где «все бело — и пески и чешуйки трески — все бело до последней доски от обшивки «Святого Фоки» капитана Седова». Да, были такие и подобные этим стихи без упоминания, а затем и с прямым упоминанием Лукоморья, северного недалекого от меня Лукоморья. А в тридцатых годах моей, тогда беспокойной и скитальческой жизни, в сознании моем, пусть еще смутно, но сформировался и собственный свой образ, автопортрет скитальца, бродяги, прохожего, на других непохожего, поющего песню о Лукоморье: «Это я! Тридцать три мне исполнилось года!» Словом, это было начало того самого стихотворения под тремя звездочками, обычно теперь именуемого «Прохожий». Я так и датирую его «1935—1945 годы». Оно написано далеко не сразу. И если уж рассказывать,

как оно создавалось, какими подсобными трудами сопровождалось его окончательное написание, то, не вдаваясь в излишние подробности, я расскажу, как умею, по крайней мере, о следующих фактах.

Когда я, автор этого только еще начатого в 1935 году стихотворения, опять-таки оказался в Омске, дирекция ОмГИЗа, омского областного издательства, пригласила меня сотрудничать в журнале «Омская область»: по отделу краеведения, истории, культуры и тому подобное. Тут я и печатал время от времени статейки и заметки на самые разнообразные темы. Я не сохранил комплекта этого тонкого журнальчика и точно теперь уж не представляю, что именно в нем напечатал, может быть, и вероятно даже, что и что-нибудь о милом моему сердцу северном Лукоморье, входящем в административные границы тогдашней Омской области, но явственно помню, что именно в ОмГИЗе я встретился однажды со скромным естествоиспытателем, профессором И. Н. Шуховым.

Я знал о нем и раньше. Он принадлежал к той группе ученых, с которыми судьба меня свела еще в дни моей вовсе зеленой юности, когда в Омске на базе сельскохозяйственного училища, а затем института, возникла Сибака, то есть Сибирская Академия сельскохозяйственных наук. И может быть, я несколько путаю, но мне сейчас представляется, что именно с Сибаккой и были связаны все те ученые, о которых пойдет речь. К Сибакке принадлежал профессор и поэт, сибирский сотрудник Вернадского, корреспондент Циолковского, Петр Людвилович Драверт. Его минералогический кабинет сперва ютился в стенах рабфака, то есть в здании бывшего коммерческого училища, затем Драверт перенес свои метеориты в городской филиал Сибакки, то есть в дом на Тобольской улице. Видимо, с Сибаккой был связан и профессор Александр Львович Иозефер, худощавый, похожий на гипертрофированное изображение Шерлока Холмса математик, он же вице-командор

иртышского яхт-клуба, капитан и владелец яхты «Шалунья»: фотографии меня с ним на этой яхте сохранились у меня и до сих пор. С Сибаккой был связан и живший одно время в прибрежном квартале неподалеку от яхт-клуба в некоей приземисто подслеповатой избушке на курьих ножках поэт Вадим Бердников, правнук тобольского сказочника Ершова, впоследствии ученый-почвовед. Я бы мог назвать еще ряд имен омских ученых, но это завело бы слишком далеко. И поэтому я возвращаюсь к Иннокентию Шухову, зоологу, орнитологу. Он, пожалуй, был для меня дальше всех вышеупомянутых ученых, поскольку не имел отношения ни к поэзии, ни к парусному спорту. И в двадцатых годах я слышал только об этом зоологе, не будучи знаком с ним лично. Но в году тридцать шестом я, наконец, столкнулся с Иннокентием Николаевичем Шуховым лицом к лицу. Он пришел в ОГГИЗ, насколько мне помнится, потолковать по вопросу издания одной научно-популярной брошюры о грызунах. Мало-помалу мы разговорились, так как нашлось о чем поговорить, не как раньше. Повторяю: я знал о профессоре Шухове в двадцатых годах, но не искал с ним встречи, как и он со мною, а тут, видимо, уменьшилась разница лет; я вырос, вырос и вообще сам по себе и, вероятно, в его глазах, превратившись из подростка-стихотворца во взрослого уже литератора. Словом, мы разговорились, не о сусликах, а вообще на краеведческие темы, в том числе, и о Мангазее. Причем он сказал, что в следующий раз он мне кое-что покажет. И действительно, вскоре он принес и показал мне книжку, вернее даже брошюрку, тощую, форматом в восьмушку листа.

Но, мгновенно вникнув в смысл бледно отпечатанного текста, я испытал целую бурю чувств! Это было смешение чувств стыда, восторга и разочарования. Стыда за то, что, давно зная о Шухове, я не знал ни о наличии у него этой книжечки, ни о том путешест-

вии, которое он предпринял, чтоб ее написать! Я не знал, что он побывал в гостях — это-то и вызвало у меня восторг, — в гостях у лукоморцев! У северных лукоморцев! Ведь в этой брошюре повествовалось ни о чем-нибудь иным, а о путешествии Шухова еще в предреволюционные, предвоенные годы на реку Таз, то есть на предполагаемое место развалин златокипящей Мангазеи, а по существу в северное Лукоморье новгородских преданий! Чувство же разочарования я испытал потому, что обо всем этом повествовалось скупно, научно-суховато, как и подобает писать уважающему себя натуралисту.

— Почему вы написали об этом своем интереснейшем путешествии так предельно мало? — спросил я.

— Да так, знаете... — неопределенно ответил профессор, — это ведь давно еще у меня, до революции...

— Так напишите теперь об этом больше, напишите по-настоящему много-много! — воскликнул я. — Теперь пришло время! Ведь мы в ОМГИЗе, в издательстве. Идемте к директору Тихонову, я не сомневаюсь, что он тотчас же оформит с вами договор!

— Что вы, что вы! — сказал Шухов.

Он был странным, до чудоковатости скромным человеком, этот ученый, потомок казаков Второго отдела сибирского Казачьего войска. Он жил где-то на скрипуче-тротуарной серозаборной деревянной окраине Омска в маленьком домике, полном звериных чучел. Довольно небрежно одетый, в своей лохматой шапке он шествовал по городу, действительно походя на просвещенного крысолова и птицелова. По крайней мере сорок раз я говорил с ним о необходимости написать книгу о северном Лукоморье, — и не только в разрезе исторических данных, но и в смысле хозяйственных перспектив на будущее. Но вместо согласия он долго толковал мне о своей коллекции моржовых клыков. Наконец, желая разозлить и разжечь его, я сказал: «Ну, погоди-

те! Не напишите вы, так напишу я!» — «Да, да пишите!» — ответил он. «Нет, не стихи, не заметки, не статеечки в «Омскую область», — я напишу целую книгу!» — пригрозил я. И действительно, взялся за дело.

Может быть, мне следовало бы для начала съездить по следам Шухова на реку Таз, как это сделали чуть ли не на полвека спустя архангельский помор Дмитрий Буторин и писатель Михаил Скороходов на парусном судне «Шелья». Но видимо, всему свое время. В те годы, во второй половине тридцатых, когда из Омска куда-то уж уехал и командор яхт-клуба профессор Иозефер, да и вообще с иртышского горизонта куда-то подевались почти все знакомые мне парусные яхты, мне даже на ум не пришло сговариваться с кем-нибудь о таком проекте дальнего парусного похода; я как бы оставил эту часть будущим архангелогородцам и всем другим путешественникам, позднейшим разведчикам Прошлого и Грядущего. Единственное, что я тогда предпринял в этом направлении, была поездка с Ниночкой и Виктором Утковым в Тобольск. Путешествие оказалось, несомненно, важным и интересным: на пароходе, везущем нас в гиперборейски-лукоморский туман севера, мы неожиданно встретились с целой бригадой украинских писателей. Эти южные товарищи ехали в Тобольск отмечать юбилей замечательного погибшего до революции в сибирской ссылке украинского поэта Грабовского. Мы славно провели время: Виктор собирал материал для своей книги об авторе «Конька-Горбунка», тоболяке Ершове, я, в разрезе задуманной мною книги, интересовался вообще всякой сибирской седой стариной и, казалось, преуспел в этом; во всяком случае, именно тогда, в конце тридцатых годов возникла у меня «Повесть о Тобольском воеводстве». Правда, издание книги было отсрочено войной, но некоторые главы повести, главы как раз о северном Лукоморье, послужили

мне основой для опубликования в газете «Красная звезда», в дни войны, статьи о Лукоморье, а затем для брошюры «Вперед, за наше Лукоморье!», включавшей в себя газетный текст статьи, а также письма-отклики фронтовиков на эту статью. В ней говорилось о том, за какое прекрасное Лукоморье борется наш советский народ, отражая полчища гитлеровцев. Говорилось обобщенно обо всех наших Лукоморьях северных, южных и восточных — прошлых и будущих времен. Таков был смысл этой книжки. Что же касается повести именно о Тобольском воеводстве, то она была издана омским издательством уже после войны, в 1945 году, а затем, почти через четверть века, была переиздана новосибирцами, и переиздана, надо сказать, очень нарядно. Книга вышла в серии подарочных изданий. Украшенная цветными рисунками художников, повесть эта в красном с золотым тиснением переплете получилась как пряник. Она, конечно, незамедлительно разошлась, и, вообще говоря, ее даже хвалили, во всяком случае никто не ругал, но она не имела большой прессы. О ней, об этой исторической повести, журнальные критики упоминали лишь попутно, а что касается историков, то лучше всего сказал мне встреченный позднее, уже в Москве, после войны Бахрушин: «Да, конечно, ваши исторические произведения наполнены прекрасными поэтическими домыслами, которые все-таки нуждаются в научном подтверждении!» Это он высказал в частном разговоре, когда мы встретились в гостях у академика Бориса Завадовского. Имел же в виду Бахрушин, я думаю, не что иное, как мое категорическое утверждение, что автором так называемой Строгановской летописи является даже не тобольский дьяк Сергей Кубасов, а не кто иной, как сам Дукс Иван непотребный и многогрешный, то есть князь Иван Катырев-Ростовский, точно известный лишь как автор других трудов, прекрасный стилист и один из первых певцов русской природы. Или утверждение, что сибир-

ский сотрудник Петра Великого, географ и архитектор, сын боярский Семен Ремезов, перестраивая с помощью пленных шведов тобольский кремль с деревянного на каменный, под треск и хруст рушимых гнилых бревен, писал не столько летопись, сколько повесть о своих предках, сподвижниках Ермака. Конечно, у меня была эта тенденция, быть может, в назидание профессору Шухову, изобразить не одного лишь действительно существовавшего ямщика-летописца Илью Черепанова, но и других исторических героев именно писателями, писателями, может быть, и в большей степени, чем они были на самом деле. Вероятно, в «Повести о Тобольском воеводстве» есть еще те или иные преувеличения, иначе сказать, литературные вольности; не случайно я не прославился как историк. Но как бы то ни было, я получил для себя немалую пользу от всех этих новгородских или арабских преданий и легенд о неких народах, загнанных еще Александром Македонским в Камень, другими словами, в Уральские горы, что громоздятся на границе страны Мраков, или от повествований (уже не сказочных, а достоверных), скажем, о мудрой кодской княгине Анне, пытавшейся объединить под своим правлением хантов и манси там, в гиперборейских владениях Златой Бабы, этой прекрасной идолицы Обдорья. Тогда же у меня возникли и замыслы целого ряда исторических поэм — о тарском воеводе Василии Тюменце, о тобольской домотканой Венере... А главное, все это, вместе взятое, дало мне, как я теперь понимаю, возможность закончить, дописать до конца то стихотворение, которое стало заглавным и определило характер моей первой, получившей широкую известность книги стихов «Лукоморье», вышедшей в 1945 году. Я имею в виду стихи о печальном бродячем сказочнике-флейтисте, который из нежеланного стал желанным и который, наконец получил право воскликнуть, обращаясь ко всем:

Так случилось!
Мы вместе.
Ничуть не колдуя,
В силу разных причин за собой вас веду я!

Сейчас я цитирую эти стихи по книжечке, изданной в серии «Библиотека школьника». Это стихотворение вошло во многие сборники и даже в учебную хрестоматию для учащихся десятых классов. Словом, оно общеизвестно. Так случилось. В силу разных причин, о которых рассказано выше. В число этих причин входят, конечно, многолетние поиски и кропотливые подчас изыскания всего того, о чем были сделаны неоднократные попытки высказаться просто-напросто в прозе. Но эта проза, если не забыта вовсе, так осталась где-то в тени, а на белый свет вышло только, видимо, самое главное для меня — стихи.

Таковы, вероятно, законы жанра. Каждому свое. Мне, конечно, жаль, что профессор Шухов не написал побольше о своем путешествии в гости к лукоморцам. Позднее я говорил и сыну уже покойного Шухова: «Хоть вы напишите об отце своем как следует». Но он так же, как и отец, застенчиво улыбаясь, тратил свое время на писание детских стихов для издательства «Малыш». Законы жанра! Они загадочны.

Вот пример, который вспоминается мне в связи со всем рассказанным выше.

Однажды в одном из старых сибирских настольных календарей-ежегодников я наткнулся на хронологический перечень касающихся Сибири событий. Таких перечней в подобных изданиях было немало, и они бывали обычно однообразны и сухо стереотипны. Но, просматривая этот перечень, я вдруг понял, что увлечен им, как чем-то необыкновенным, никогда не встречающимся прежде. Упоминания о происшествиях локально-местных, сибирских, сопровождалось, вернее, чередовались в нем с упоминаниями о событиях европейских, средне- и южноазиатских, и даже заокеан-

ских, словом, как нынче принято говорить, имеющих глобальный интерес. И все это, сливаясь воедино, являло собой как бы сюжетную повесть, связующую местное с общемировым. Это было предельно сжатое скупое исследование, заключающее в себе элемент если не поэзии, то художественной прозы. Таким был, или, во всяком случае, таким мне показался этот хронологический перечень событий, составленный, как я выяснил позднее, известным деятелем географического общества, путешественником, автором книг о Джунгарии и Монголии М. В. Певцовым, он, Певцов Михаил Васильевич (1843—1902 гг.), оставивший и еще несколько сочинений, — по математике и физической географии, — был несомненно талантливым художником пера!

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН

Собираемся в деревню. Вот уже пятый год, как мы отдыхаем не у черноморских вод, на берегу потухшего вулкана Кара-Даг, а здесь, в Подмосковье, на истринских берегах. Все меняется: коктебельским коттеджам мы предпочли степановскую избу. Но и она уже изменилась, за зиму ее перестроили почти что до основания, и она стала внешне похожей на самый настоящий коттедж, да и внутренне, по крайней мере на половине, которую мы занимаем, — на жилище городского типа со всеми его атрибутами, но к тому же просторное — прямо хоть танцуй, если бы мы с Ниночкой не отгородились от остальных членов нашего дачного семейства легкой, похожей на деревянную ширму летней перегородочкой. Этот древесный узор перегородки и стен — пожалуй, единственное, что осталось от былой деревенскости. Печь, например, исчезла бесследно, ее заменяют оползающие всю внутренность домика белые

змеи центрального отопления, чья топка на хозяйской стороне. Так удобней хозяйке Галине Михайловне, хранительнице этого нового пароводяного домашнего очага.

Модернизированное жилище оборудовано люстрой, продолговатыми лампами дневного света, холодильниками, газовыми плитами; телевизором и радиоприемником с проигрывателем. Рад ли я этой метаморфозе старой избы? Разумеется, я выразил восхищение. И в самом деле, кто как не я когда-то написал о старых избах:

«Будь проклят тот сентиментальный лжец, что воспевал крестьянское жилище!» Убогие избы возмущали мою душу горожанина. Но значит ли это, что и тогда, в юности, мне не грезилась изба иные, идеальные? Грезилась, да еще как! Идеальные избы с идеальной резьбой над идеальными крыльцами, избы с идеальными русскими печами, в которых идеально трещат идеальные поленья, для того чтобы в таких печах выпекались идеальные калачи. А на печах и на лежанках мерещились мне идеальные тулупы. Я и сам не знал, откуда у меня, урбаниста, все эти «славянофильские» грезы, тогда я еще не читал ни Аксакова, ни тем более Леонтьева, я упоминаю именно его, чтобы не углубляться в дальнейшем в еще более глубокие лабиринты бревенчатой тьмы, ибо в этих грезах было наряду с притягательным еще и нечто отталкивающее, возмущающее мой разум; в красных углах, озаренные красно-зеленым светом лампад, мне грезилась не лики святых, а облики Распутина и Иллиодора, вселяя уверенность, что если отколупнуть краску в уголке образа, так оттуда выглянет и сам нечистый. Это было порождено, конечно, настроениями времени, так сказать, поствольтерьянством отцов, — предреволюционная интеллигенция была вольнодумней постреволюционной. Подросши, я думал, что, может быть, какие-то врожденные воспоминания, уна-

следованные уж не от родителей, а от дедов и прадедов, заставляют меня видеть в обыкновенном кнуте на крестьянской конюшне не столько орудие для управления конем, сколько орудие для наказания человека человеком, а в симпатичных недрах деревенских изб я усматривал березовые следы хлыстовских радений. И все это было столь ярко, столь отчетливо, что я, сбрасывая со счета и Мельникова-Печерского, и Мережковского, и Андрея Белого, склонен был полагать, что это только мои личные бреды, с которыми я и должен бороться со всей непримиримостью, отвергая какую бы то ни было клюевщину — апологетику каких бы то ни было бедных или богатых, явно смердящих или фальшиво благоухающих изб. Это было не левачество, в котором был склонен меня обвинить Ваня Ерошин, не американщина, за которую меня собрался однажды отколотить бедняга Илья Мухачев — это было стремление освободить и крестьян, и себя самого от чар идиотизма сельской жизни. Вот почему я совершенно сознательно обходил стороной эту так привлекающую меня Русь с ее избами, с ее древней прекрасной живописью в церквях, с малиновым звоном колоколов, словом, я обуздывал все унаследованное и благоприобретенное для того, чтобы мне, идущему, как мне казалось, единственно верной дорогой, не попасть в ложное положение, как это случалось, да и ныне случается с некоторыми, которые слышат малиновый звон, да не знают, откуда он.

Однажды, и не так уж давно, года три назад, уже отказавшись от всех крайностей своего бывшего непримиримого урбанизма, а в силу физических причин — от курортного приморского солнца, и познав прелесть деревенского отдыха над быстрою Истрой, я все-таки в одну душную летнюю ночь испытал рецидив избофобии и балебоязни, если именно так понимать то, что я ощутил и выразил в следующих строчках:

Почему иногда во Вселенной Духота, как в избе пятистенной?

Мне явственно представилась эта изба, сквозь чердачное оконце которой на меня подозрительно и, может быть, презрительно поглядывает седолунный господь Саваоф, а подполье этой избы забито бесчисленными пыльными большими и мелкими картофелинами земных шаров и других планет. Но я не закончил этих стихов, потому что почти одновременно с их написанием получил от юного моего друга из Оша, Миши Синельникова, нечто подобное. Это случается. Иногда не только люди, живущие в разных концах страны, но даже и антиподы бывают охвачены одним и тем же чувством... Словом, я не стал печатать этих стихов. И правильно сделал, потому что недавно, читая книжку Б. Кузнецова «Этюды об Эйнштейне», обнаружил, что сба мы — и я, и Миша — забыли о Достоевском. Кузнецов, говоря об Эйнштейне и Достоевском, цитирует высказывание Свидригайлова насчет вечности: «Вдруг... будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность». Ведь вот, подумал я, откуда может быть у меня эта мысль о Вселенной — избе пятистенной, и этот вопрос — почему иногда во Вселенной духота, как в пятистенной какой-то моленной, где таятся старообрядцы? Никакая, оказывается, не предпамять, а просто невольный плагиат из давно не перечитанного «Преступления и наказания».

Однако счастливее всех нас, конечно, Галя, наша хозяйка Галина Михайловна Ульянова, в смысле историческом гордящаяся лишь тем, что их семья с такой знаменитой ленинской фамилией в деревне одна среди других деревенских семей, носящих преимущественно фамилию Мухиных. Галина Михайловна не читала ни Достоевского, ни Лескова, ни Леонтьева, ни Бунина, ни Клюева, ей некогда читать или даже рассматривать картинки, она даже не подозревает, что внешним своим

обликом она напоминает одну языческую богиню, превратившуюся в христианскую святую. Она похожа на знаменитую Параскеву Пятницу из Галича. Но из многочисленных ученых трудов мне известно, что под византийским обликом Параскевы Пятницы скрывается прообраз древней славянской Лады, то есть с принятием Русью христианства функции хранительницы домашнего очага были переданы от белокурой Лады византийской смуглянке Параскеве, на которую и похожа внешностью и натурой наша Галина Михайловна. Она об этом и не подозревает, она не занимается мифологией, а занимается делом — растит огурцы под полиэтиленовыми кровлями парников своего колхоза-миллионера, а в свободное время, которого весьма мало, она с мужем доразукрашивает свою модернизированную избу и если мечтает, то только о том, чтобы оборудовать если не ванную, так душ, да еще мечтает раздобыться каким-нибудь более сильным средством от бессонницы, вызванной естественным переутомлением: седуксен и элениум уже не помогают.

Между прочим, я понял, откуда у нашей Галины Михайловны такое необычное даже и для колхозницы колхоза-миллионера стремление к городскому образу жизни и почему она столь легко рассталась с русской печью. Дело в том, что Галя — эта хранительница домашнего очага, перевоплотившаяся из мифической Лады в византийскую святую, — дочь самой настоящей петербуржанки. Ее мать в годы голода и разрухи вышла замуж за подмосковного крестьянина, Галя выросла в Подмосковье, в деревне, но факт остается фактом — она без вздохов рассталась с русской печью, которая занимает много места и на которой Галине Михайловне некогда лежать.

И все-таки я думаю о том, что традиционная русская печь, может быть, и будет восстановлена в этом или, может быть, в новом доме не детьми, но внуками Галины Михайловны. Дети ее, один из которых уже

отслужил действительную службу и вернулся из ГДР, женился и живет в Москве, а другой возвращается из армии, тоже из ГДР, нынче едва ли восстановят в отчем доме русскую печь. А вот внуки — возможно... Но до этого еще далеко, и нынче я, грешный, буду спать в избе без печи, хорошо что хоть под тулупом, который, кстати, мы привезли из дому, ибо в селе Степановском тулупами даже и не пахнет, а нам тулуп для экзотики купила в Вологде племянница Лёся, тоже не у мужиков вологодских, а у знакомого железнодорожного кондуктора. Старик, выйдя на пенсию, уступил свой тулуп, являвшийся для него не более чем прозодеждой.

Утром я вывесил этот тулуп, как некое чудовище, проветриваться на заборе за малиной и вишнями, а сам пошел навестить соседа дачника, старого художника Комарденкова, когда-то делавшего обложку для имажинистской «Конницы бурь», а теперь, подобно мне, углубленного в колхозный быт и рисующего волшебнo-декоративные старые русские избы, которых нет кругом и в помине. Кругом — коттеджи; а ближайшая, не волшебная, но все же достопримечательнейшая изба, — это ресторан под названием «Русская изба» в селе Ильинском, за три автобусных остановки. Комарденков, вероятно, опять покажет мне все новые изображения сказочных изб на курьих ножках, причем его супруга будет упорно подчеркивать, что это эскизы декораций, что ее супруг — художник-декоратор, но я-то знаю, что он не декоратор, а поэт и мечтатель. И я уж чувствую, что Комарденков снова пожалуется мне на издательство «Искусство», которое далеко не все напечатало из его мемуаров о футуристически-имажинистском прошлом. Я посочувствую ему и пойду своей дорогой по улице села в надежде отыскать еще хоть один обломок от старой церкви, исчезнувшей бог знает когда. В позапрошлом году, когда рыли канаву для водопровода, я нашел кусок прекрасной лепной детали, авось нынче обнаружу и ее недостающую половинку.

А может быть, обломок церковного колокола, издавшего когда-то малиновый звон над этими полями.

Так размышляя, с улицы, пересеченной асфальтовой дорогой, я выйду в поля созерцать валуны, похожие на окаменевшие головы не слишком гигантских богатырей. Эти и другие прекрасные камни выброшены на обочины дорог с пространств, нынче гораздо тщательнее засеянных зерновыми и кормовыми культурами. Затем я углублюсь в лес. Первое время надеюсь, что там будет много земляники. Вслед за ней пойдут, надо думать, и грибы. Подберезовики. Если улечься возле них на траву, они могут показаться маленькими Иванами Великими с бурокаменными стволами и золотыми куполами, а сыроежки и лисички возле них — богомолками и каликами. Есть еще и другие породы грибов с иными, старчески сморщенными или с младенчески округлыми ликами. А сплетение ветвей с листвою над моей головой, при известном взлете фантазии, может показаться колебанием живой славянской вязи, письменами, богатыми непонятными именами, а в крайнем случае и просто филькиной грамотой, которую не понять, а можно только лицезреть, осязать, обонять, переосмысливая все это заново и заново.

ПУТИ ПОЭЗИИ

Страшно и скучно.
Здесь новоселье,
Путь и ночлег...

Я полагаю, что просвещенный читатель и без меня знает, откуда это.

Вчера мне позвонили из одной редакции: не могу ли я что-нибудь написать о Пушкине? Я сказал, что не могу.

И действительно, еще вчера мне казалось, что не могу, не способен сказать о Пушкине больше ничего, кроме того, что когда-то сказал в «Увенькае».

Но вот моя жена, как мне показалось, просто для того, чтоб найти при решении кроссворда слово, обозначающее произведение Пушкина, взяла однотомику Пушкина, полистала его и стала вслух читать подряд стихи «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке» и еще, и еще, и наконец это:

Страшно и скучно.
Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно.
В диком ущелье —
Тучи да снег.
Небо чуть видно
Как из тюрьмы.
Ветер шумит.
Солнцу обидно..

И я осознал, что мне, к стыду моему, до сих пор были, попросту говоря, неизвестны эти стихи, первая строчка которых звучит как «страшно и скушно», ибо «скушно» рифмуется с «душно». И тут явственней, чем на собственных его замечательных рисунках, увидев перед собой Пушкина — Пушкина на коне, Пушкина на Кавказе, Пушкина, может быть, после встречи с людьми, везущими из Персии прах Грибоедова, а может быть, и до этой встречи, я не знаю твердо, но, уяснив себе, что стихи датированы именно 1829 годом, я понял, что Пушкин думал и чувствовал, и выражал свои чувства точно так, как мы, люди второй половины двадцатого века. То есть в этих стихах я не ощутил никакой архаики, никаких старинных оборотов речи, свойственных некоторым другим, даже самым гениальным его произведениям. Наоборот, я уловил в этих стихах особенности, свойственные именно нашему времени, например, неточное, приблизительное созвучие «тюрьмы —

шумит» и некоторую свойственную нашим творениям кажущуюся алогичность, как, например, вот это будто бы противоречащее здравому смыслу ощущение: тучи да снег, следовательно — холод, а все-таки — душно!

И у меня возник целый ряд ассоциаций, как всегда бывает в тех случаях, когда воспринимаешь хорошие стихи. Прежде всего, пожалуй, обозначился курчавый, губастый, чем-то похожий на известный мальчишеский портрет Пушкина, совсем молодой еще Всеволод Иванов в белой рубашке-апаш, похожей, кстати, на байроновскую блузу, — автор не только еще единственной своей, напечатанной под псевдонимом Тараканов, тоненькой беленькой книжки «Рогульки», но и многочисленных стихов. И на фоне этих стихов, каких-то частушек, вдруг обозначилось ясно одно, именно подходящее к случаю:

«На улицах пыль да ветер, да плач колокольного звона. Никто почти не заметил, как пронесли икону. Две старушки, перекрестясь, оправили полушалки. Город — ламанчский князь — смотрит смущенно и жалко».

Почему именно это стихотворение, напечатанное именно вот так в строку, без указания имени автора, в тексте одного из рассказов Антона Сорокина, в книжке его «Тюун-Боот»? Потому ли, что ламанчского князя напомнил мне один из рисунков Пушкина, изображающий всадника? Или сыграл роль союз «да», соединяющий близкие и тому и другому стихотворению понятия: «тучи да снег» и «пыль да ветер»? А может быть, я уловил что-то общее в настроении. Может быть, юный, курчавый, губастый Всеволод Иванов, сочиняя эти свои пыльно-омские стихи в тревожное время, году в восемнадцатом, сочетал свою молодую тревогу именно с этим знакомым ему пушкинским «страшно и скучно»? И, как бы сведенный этими своими рассуждениями с ермоловски-кавказских высот в декабристско-сибирскую ковыльную степь, я перенесся и с этой плоской, унылой от

кровавых поветрий равнины опять-таки в совершенно иные края, представив себе пейзаж, связанный не с тысяча девятьсот восемнадцатым годом в Сибири, а с Францией эпохи франко-прусской войны: «В полях уныний неверно лег и как песок мерцает иней. Как пыль металла лазурь тускла — луна блуждала и умерла. О, волк худой и ворон нищий, какая пища вас ждет зимой? В полях уныний неверно лег и как песок сверкает иней». Франция-то Франция, но я уверен, что эти стихи были навеяны Полю Верлену не только суровой действительностью, но и чтением опять-таки Пушкина, переводов Пушкина на французский язык. Да, да, я что-то у кого-то читал по этому поводу, что Верлен интересовался Пушкиным, но, конечно, может быть, я и выдумал, например, и то, что Верлен с его сократовским монголоидным или даже скифским обликом, может быть, является потомком какого-нибудь киевлянина из свиты французской королевы Анны Ярославны. И следовательно, ощущение русскости было у него в крови, так же точно, как у Пушкина было в его натуре ощущение далекого прапрадедовского африканского юга.

Вот сколько всяческих, может быть, и спорных, и даже несуразных мыслей возникло в моем сознании. И я задал себе такой, быть может, обличающий мое незнание пушкиноведения, вопрос: цитирует ли кто-нибудь в наше время эти стихи — «Страшно и скучно»? Кто вспоминает их? Может быть, я пропустил, но мне что-то не припоминается, чтоб кто-нибудь нынче по какому-нибудь поводу привел именно эти строки, в которых поэтическая речь Пушкина столь сближается с поэтической речью наших дней. Это, подумал я, Пушкин, уходящий в Грядущее! Конечно, он таким и был, и ценил это свойство в других. Не он ли оценил и напечатал в «Современнике» шестнадцать стихотворений некоего Ф. Т., новатора, чьи стихи по своему оригинальному содержанию, а следовательно и по форме, ибо одно

вытекает из другого, предвосхищали грядущие дни жизни поэзии! Не Пушкин ли впервой заметил этого Ф. Т., то есть Федора Тютчева, того самого Тютчева, которого только через пятнадцать лет во второй раз открыл Некрасов? Но даже еще яснее устремление Пушкина в будущее выразилось в отношениях с Баратынским, одним из наиболее молодых, смелых и упорных заглядывателей в грядущее. Ведь не кто иной, как Пушкин, оценил дерзновенные и, естественно, непонятные для среднего читательского уровня новаторские по форме и содержанию стихи Баратынского. Не Пушкин ли сказал о поэме Баратынского «Эда»: «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут». И оказался прав, ибо, как отмечает биограф Баратынского Пигарев, «официальная критика упрекала «Эду» в «ничтожестве» и «непиитичности» содержания.

И я пытаюсь представить себе взаимоотношения Пушкина с Баратынским: затею Пушкина выпустить совместную с ним книжку — две поэмы, «Граф Нулин» и «Бал», под одной обложкой, — появление Пушкина с Баратынским в зале Благородного собрания — все эти внешние признаки внутренней близости, любви и понимания и, главное, предвидения Пушкиным того будущего расцвета устремленной в будущее поэзии Баратынского, свидетелем чего Пушкин уже не стал. Ведь уже после гибели Пушкина появились самые замечательные стихи Баратынского, например «Приметы», — это, я бы сказал, футурологическое и экологическое стихотворение, вдохновенно и тревожно повествующее о соотношениях человека с Природой, то есть о вопросе, ставшем столь острым именно в наши дни. «Пока человек естества не пытал горнилом, весами и мерой, но детски вещаньям природы внимал, ловил ее знаменья с верой; покуда природу любил он, она любовью ему отвечала...» Не этой ли тревогой за разлад с природой, за насилия, творимые над ней алчными пенкоснимателями, нефте-

гочивыми замутнителями океанов, трещеточными истребителями воробьев, всевозможными господами Небоскребовыми и Недоскребовыми охвачен, наконец, весь наш двадцатый век! Вот оно когда действительно стало «тесно и душно» и «солнцу обидно» «от пепла, застилающего небеса», и «в смущение приводит человека вал морской, и от шумных вод отходит он с тоскующей душой».

Все эти печальные обстоятельства как бы предчувствовали Пушкин и Баратынский, эти интуитивно или разумно пронизательные бюджетяне первой половины чреватого своими фабричными дымами девятнадцатого прошлого века.

И тут встало на место и нашло себе логическое обоснование и еще одно мое до сих пор смутное соображение. Я до сих пор как-то не совсем понимал логики Велемира Хлебникова, диалектики Хлебникова, или не знаю, как определить это отношение, это пристрастие гречисленного к футуристам, но называвшего себя просто бюджетянином Хлебникова не к кому-нибудь, а именно к любимому Пушкиным Баратынскому. Чтоб доказать это, достаточно сравнить поэмы Баратынского и Хлебникова. У Баратынского в столь ценимой Пушкиным «Эде» героиня ее:

Как небо зимнее, бледна,
В молчанье грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.
Сидит и бури вой мятежный
Уныло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?»

Но не о том ли самом толкует в поэме Хлебникова Венера шаману:

Ты веришь! — видишь? — снег и вьюга!
А я, владычица царей,
Ищу покровы и досуга
Среди сибирских дикарей.

Что это? Подражание? Неосознанное влияние? Подтверждение слов Мандельштама о том, что «и снова бард чужую песню сложит и как свою ее произнесет»? Тут я вообще предвижу негодование критиков: одних на то, что я цитирую Мандельштама, других на то, что понижаю Хлебникова, называя его, новатора, футуриста, будетлянина, Председателя Земного Шара, прямым продолжателем, если не просто подражателем Баратынского. Обороняясь от всех этих нападков, я мог бы привести целый ряд примеров близкого сходства стихов Баратынского с хлебниковскими, например похожести образов шамана из «Шамана и Венеры» и старца из «Переселения душ» Баратынского. Вот, например, начало «Шамана и Венеры»:

Шамана встреча и Венеры
Была так кратка и ясна:
Она вошла во вход пещеры,
Порывам радости весна.
«Ты стар и бледен, желт и смугол...»

Разве это не похоже на следующие строки «Переселения душ»:

Царевна видит пред собой
Обитель старца...
Бредет к ней старец гробовой.
Паяс торжественный и дикий,
Белобородый, желтоликий...

В поэме «Эда» о гусаре:

Но чаще, чаще он скучал
Ее любовь тоскливой
И миг разлуки призывал...

В «Шамане и Венере»:

Она бросается ему на шею.
Его ласкает и целует...
Могол же морщится, тоскует.

На тему стилистического сходства образов в стихах Хлебникова и Баратынского, я думаю, можно написать целый трактат, но суть не в этом, а суть в том, что, на мой взгляд, настроения Баратынского, а через него и настроения Хлебникова берут свое начало из настроений стихов Пушкина, подобных вот этому самому:

Здесь новоселье,
Путь и ночлег.

Ведь нельзя же не заметить у Хлебникова даже именно эту подробность: Венера является к Шаману, «прося у желтого ночлега», именно ночлега, ночлега!

Вот что стало для меня совершенно ясным и понятным после того, как я прослушал эти короткие великолепные стихи Пушкина, которые прочла мне вслух Ниночка вовсе не для решения кроссворда, но чтоб хитро привлечь мое внимание к Пушкину, так как она тайно желала, чтобы я все-таки написал о нем, и достигла своей цели — стихи очаровали меня! Удивительные, хотя, видимо, и незаконченные стихи, потому что текст не завершен точкой, и даже в этой своей незаконченности и этой своей незаконченностью устремленные вперед! И тем более убедительные потому, что, тревожные и печальные, они сорвались с уст великого оптимиста, — никто не посмеет обвинить Пушкина в сумеречности и никто не посмеет потребовать от него сплошной улыбочатой ясности. Это о Баратынском еще можно писать, как пишут некоторые современные литературоведы, хотя бы тот же самый К. Пигарев, что-де в поэзии Баратынского немало пессимизма, немало «темных» мест, которые, чтобы быть понятными, требуют

перевода на язык обыкновенной прозы», и что есть-де у него такие строки, преимущественно в стихах второй половины тридцатых — начала сороковых годов: в «Недоноске» и в «Осени». Ведь угораздит же ткнуть недоуменным пером прямо в самое что ни есть значительное, в самое лучшее! Но пусть почтенные литературоведы и занимаются этим малопочтенным занятием перевода якобы темных мест поэтических произведений на язык обыкновенной прозы, забывая, что стихи — это именно то, о чем нельзя сказать прозой. Может быть, какой-нибудь другой литературовед или критик, отчаявшийся проследить истинные пути, привалы и ночлег поэзии, попытается предпринять академический перевод на язык прозы всей этой самой поэзии, включая и выше цитируемые стихи Александра Пушкина, которому вдруг однажды стало одновременно и страшно, и скучно, и душно. И целый симпозиум литературоведов будет все-таки даже и тогда дебатировать, страшился ли Пушкин скуки или скучал от страха. По-моему, всего вернее последнее. Ей-богу, это не требует перевода на язык обыкновенной прозы, ибо каждый неизвращенный человек понимает, что это за скука — чего-нибудь бояться, страшиться. И понимает, что нет ничего нудней состояния страха. И не потому ли в страшные времена из-под пера вдохновенных художников, стремившихся стряхнуть с себя постыдное и нудное чувство страха, выходили самые прекрасные произведения. А что касается ощущения духоты в снегах, так я, конечно, не претендую на доктринерское поучательство, но тем не менее опубликовал недавно в малотиражном, но высокогорном таджикском журнале «Памир» стихи, в которых говорю о том, что

можно и под южным
июльским солнцем
прозябать!

ЛЕРМОНТОВСКАЯ УЛИЦА

Ветер мел снег, клубил песок,
Но, кепку на затылок сдвинув,
Багроволиц, угрюм, высок
По Лермонтовской шел Мартынов.

Так я написал однажды. И мне сказали, что это звучит недостаточно ясно. Откуда это? И что имеется в виду? И кто в виду имеется. Я ли сам? Или, может быть, тот Мартынов, который убил Лермонтова? И такое недопонимание возможно. Ведь принял же меня однажды (я рассказал об этом в другом месте) один алтайский партизан за того Мартынова. Да и не он один: я читал где-то, что одна школьница объявила о своей ненависти к моим стихам именно из-за того же совпадения фамильных прозвищ. Как видно, все это действительно требует объяснений. И я отвечаю: с тем злополучным Мартыновым не имею никаких родственных связей, а в вышеупомянутом четверостишии я не имею в виду ничего иного, кроме юношеских моих хождений по Лермонтовской улице города Омска. Эта Лермонтовская, бывшая Томская улица, начинающаяся в центре города, уходила далеко-далеко на восточную его окраину, исчезая там в глинобитности и дощатости бесчисленных Линий и в березовых колках лесостепи. И ходя по Лермонтовской, я меньше всего думал о Лермонтове, разве что отказался, благодаря ему, от идеи написать поэму об одной омской казначейше потому, что Лермонтов написал о казначейше тамбовской. Ведь я же и смолоду был новатором, врагом реминисценций, подражаний кому бы то ни было, даже моему любимому Маяковскому. Конечно, как и сам Маяковский, я не был огульным врагом прошлого, врагом всякой преемственности, сбрасывателем классиков с парохода современности. Я не повторял вслед за оголтелым Маринетти заклинаний о том, что надо засыпать каналы Венеции развалинами дворцов и палаццо, а на месте последних воздвигнуть макаронные фабрики. Но тем не менее я был решительно против всяких перепе-

вов. Мне казалось ужасно стыдным услышать: «Казначейша? Так это уж было! У Лермонтова». И потому я не написал этой поэмы о довольно демонической омской казначейше, а написал о ней уже гораздо позднее и попросту в прозе. Так благотворно повлиял на меня Лермонтов, с которым я не желал иметь ничего общего, но который, конечно, то и дело заставлял все старые омские граммофоны хрипеть на разные певческие голоса арию Демона из оперы того же наименования.

И я, разумеется, морщился, слыша стереотипный хрип этих тривиальных, с моей юношеской точки зрения, пластинок, и, конечно, не ходил в городской театр на гастроли заезжих опер или отдельных певцов, будь это даже пресловутый, потрясший местных меломанов Баначич! И вообще я был тогда далек от всякого и лермонтовского и нелермонтовского демонизма, но демон и именно лермонтовский и именно на Лермонтовской улице показал мне в урочный час свои байронические рожки! И сделал он это очень хитро, неожиданно и я бы сказал модерно, приняв образ не кого-нибудь иного, а врача!

Врач. Именно врач романтически распалил мое воображение. Но какой врач! Разумеется, это не был живший на Лермонтовской старый добрый дантист Перах, один из первых поклонников моего творчества. И не доктор Лейбович, лечивший меня еще в детстве от коклюша и кори и благосклонно слушавший когда-то мои младенчески наивные рассуждения о том, что за Иртышом, где верблюды, начинается Африка. А это был врач совершенно новой формации, врач очень молодой, недавно лишь закончивший медицинский институт. И добавлю еще: это был врач прелестной, очаровательной наружности. Словом, это была женщина-врач, углубленно занимавшаяся своей деятельностью молодая специалистка, которой, как я догадывался сам, не было никакого дела ни до моих стихов, ни до меня, здоро-

венного парня, меньше всего нуждающегося в какой-либо медицинской помощи.

И если она, величественно шествующая по Лермонтовской улице к месту своей работы, при встречах со мной и дарила меня взглядом, то смотрела она на меня, юнца, разве что снисходительно.

Вот это-то и бесило меня на Лермонтовской. Эта женщина-врач, это рассудительное создание, знала, что я поэт. Для меня не было сомнения, что она читала мои стихи, публикуемые в местной прессе. Знала, и что же? Если бы я в те времена хоть сколько интересовался лермонтоведением, то, пожалуй, я бы сообразил, что наши отношения в какой-то мере, в какой-то молчаливой пантомимической мере, напоминают взаимоотношения юного Лермонтова с Екатериной Сушковой, той самой Екатериной, которая, снисходительно принимая произведения поэта, напоминала ему, что он в сущности еще ребенок и что стихи его еще не совершенны и надобно их обрабатывать. Так она и засвидетельствовала в своих мемуарах, написав о том, как она (это уж говорю я, а не она), будто бы вкладывая вместо хлеба камень в его протянутую руку, садила поэта на беса. Но при встречах на Лермонтовской с этой молодой специалисткой, с этим прелестным объектом моего негодования я ни капельки не помышлял ни о какой Екатерине Сушковой, ни о каком камне, вкладываемом в руку, ни о пробуждении Демона в душе поэта! А думал я только о том, что видел перед глазами: о насмешливо-величественной женщине, ставшей врачом!

Стала врачом! Ты, конечно, права!

Все мы нашли на рукава

Знак принадлежности к воинской части! —

так мыслил я, еще не предвидя, но как бы и предвидя видения будущих битв, хотя и воображал их еще по старинке, не представляя себе истинных форм грядущих войн.

И, вспоминая о древних законах,
Мир поделился на пеших и конных.
Позднюю ночью был город зажжен,
Улицы наполнились стонами жен,
Черным дыханьем войны обожженных —

писал я, и в воображении моем все яснее возникала
такая картина:

Молча в дверях лазарета я встану.
— Что ты пришел? Перевязывать рану?
— Нет! Зажила! Не прошу ни о чем.
Нежная девушка стала врачом.

Это было длинное стихотворение, весьма романтическое,
но не лишенное и кое-каких реалистических подробностей:

Вы, серафимы, нежны и крылаты,
Выслушав ересь, оставьте палаты, —

писал я, подразумевая не столько библейских серафимов, сколько моего знакомого студента медика Серафима Рудник-Цунзера, действительно довольно смазливого юношу, впрочем больше похожего не на ангела, а на демона, и вот почему вслед за этим дерзким образом возникал образ именно дьявола:

Дьявол вбежит, обернувшись собакой.
Крикну: — Ошейником только не брякай!
Где лазарет? Не ищу лазарет,
Эвакуирован он в Назарет!

Такие стихи с наличием хоть не демона, но дьявола, стихи, несомненно, романтические и даже байронические хотя и вовсе, как мне казалось, не похожие на лермонтовские, я сочинял на улице его имени году в 1923-м от рождества Христова. А чуть позже, не раскланиваясь при встречах с той, кому они посвящены, я прощально раскланялся с ней мысленно в другом, не менее экспрессивном, стихотворении. Конечно, ей, но уже окончательно превращенной в символ, я посвятил следующие прочувствованные и на нынешний мой взгляд неплохие строки:

...я понял тебя, наконец!

В душевной комнате мечутся пленники —
Их хотел умертвить твой высокий отец,
Гениальный профессор евгеники.

Всюду кляксы, бумажные комья и клей,
И окурки на подоконниках.

Для тебя, ты прекраснее всех и светлей,
Много ль толка в таких поклонниках.

Ты напрасно зовешь: возвеличь и воспой!

Для чего величать величавую!

Я уйду, окруженный громадной толпой,
Беспокойной, голодной оравой.

Где нечист небосклон и кусты, как хлысты,
Хлещут землю сырую и серую,

Будем пни выкорчевывать, строить мосты
Второпях перед новою зрью!

Эти стихи, продиктованные столь же уязвленным самолюбием, сколь и действительным образом моей жизни, я напечатал в «Сибирских огнях» незадолго до того, как отправился в новые, все более и более далекие жизненные странствия, странствия и по тем затерянным степям, где обитали люди — корнеплоды и по тем полям, на которых явилась мне моя судьба в образе моего солнечного Подсолнуха.

И, вспоминая вышеприведенные стародавние мои стихи, зародившиеся когда-то на Лермонтовской, я считаю, что стихи эти, написанные второпях перед новою зрью, были стихами отнюдь не плохими, хотя и по-юношески романтическими и в какой-то мере байроническими, в чем вовсе нет ничего странного.

Но странно другое: как я тогда не замечал, что отцы города были трижды правы, прозорливо переименовав когда-то старую Томскую улицу в улицу Лермонтова! Они, конечно, сделали это почти машинально, скорее всего по случаю какой-нибудь юбилейной даты. Но ведь в самом же деле оказалось, что, по крайней мере во дни моей юности, на этой, тогда еще плохо мощеной улице, где ветер мел снег и клубил песок, чуть ли не каждая пылинка и снежинка дышали поэ-

зией и чуть ли не на каждом перекрестке можно было обнаружить признаки изящной словесности. Ведь эта Лермонтовская и начиналась-то Художественно-промышленным техникумом имени не кого-нибудь другого, а Врубеля (Врубель — Демон — Лермонтов — все ясно!). На Лермонтовской в собственном доме, построенном на литературный труд и потому не национализированном, обитал сам король писательский Антон Сорокин. И он водил меня знакомиться с молодым Всеволодом Ивановым, жившим одно время поблизости, тоже на Лермонтовской, а еще поблизости, в доме на углу Слободской обитал одно время поэт Александр Оленич-Гнененко, а за углом во флигеле и дочь моего старого доктора Лейбовича, юная поэтесса Маруся. И если говорить о поэтессах, то на Лермонтовской же, проездом из Иркутска, останавливалась однажды и буйная поэтесса Нибу Хабиас-Петровская. Я бы мог назвать еще ряд имен, менее значительных, но ограничусь тем, что напротив того лечебного заведения, в котором работала упоминаемая мною врачевательница тел и душ человеческих, находилась и величайшая в городе газетно-книжная типография, в которой с древних времен предавались тиснению все сочинения местных стихотворцев и прозаиков. Почему все это оказалось столь густо сконцентрировано именно на Лермонтовской? На этот вопрос едва ли смогла бы ответить и племянница садившей когда-то Лермонтова на беса Катерины Сушковой, известная теософка и окултистка Елена Петровна Блаватская!

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

Нынче меня довольно много переводили. Относительно много, много по сравнению с предыдущими годами, когда как-то забывали после опять-таки относительного обилия переводов предшествовавшего десяти-

летия. И это звучание на дважды двенадцати наречиях имело свои причины, а затем кумиры сменились... Но нынче вдруг появились целых шестьдесят стихотворений в югославском журнале «Градина», да и наша «Советская литература на иностранных языках» дала подборку переводов (правда, старых) в своих английском, французском, польском, немецком, испанском изданиях, посвященных пятидесятилетию СССР. Видимо, в зависимости от событий, а может быть, отчасти и от явлений природы, бывают годы урожайные, то, — как на хлеб насущный, — на оригинальные произведения, то, — как на золотые яблоки, — на переводы; тем более что я и сам нынче тоже вернулся к переводам, вернее попытался довести до конца один из них, начатый очень и очень давно. И если уж говорить о переводах, которых хорошо ли, плохо ли, но сделать немало, затратив на них по крайней мере десять лет творческой жизни, то воспользуюсь случаем рассказать, как все это началось еще тогда, когда в небе красный, как марсельеза, вздрагивал, околевая, закат.

Это — не цитата, это не фраза, а попросту так и было!

Для меня эти, ныне исторически звучащие слова Маяковского были не историей, а явью. И вовсе не беллетристическим приемом понаторелого мемуариста, а чистой правдой будет рассказ о том, как я, только что прочтя в «Новом Сатириконе» эти строки Маяковского, первый их неподцензурный текст, вышел вечером на двор и, глядя на красные небеса, сказал своему приятелю Борису Жезлову:

— В небе красный, как марсельеза, вздрагивал, околевая, закат.

А этот мальчик ответил, что демонстранты поют «Марсельезу» неправильно. Надо петь: «Вставай, подымайся, рабочий народ, берите дубинки и бейте господ». И мне захотелось проверить, как в самом деле звучит «Марсельеза». И вскоре я раздобыл подлинник Руже де

Лиля и с великим трудом, при содействии старших, разобравшись во французском тексте, сделал попытку перевести на русский язык:

Вперед, сыны отчизны, в бой!
Ударил славы час!
Тиранство стяг кровавый свой
Вздымает против нас.

Вторая строфа с ее блестящими рифмами «сам-
ragnes—compagnes» мне не удалась вовсе. А припев
вышел таким:

К оружию, земляки!
В гражданские полки!
Пусть в мерзопакостной крови
Омоются штыки!

Так я попытался воссоздать звучание и смысл славной песни, за что и был осмеян старшим братом и его товарищами, не говоря уже о том, что Борис Жезлов и вовсе не захотел оценить моих трудов: интерес к стихотворству, как к таковому, пробудился у него несколько позже, а интереса к проблемам перевода не возникло в нем, как я понимаю, никогда.

Но по-иному было со мной. Отведав однажды этого соблазна, я позднее, вместо того, чтобы одолеваять с посильной помощью нашего гимназического француза, старого обрусевшего мосье Реми повесть Гектора Мало «Без семьи», попробовал проникнуть в суть творений принца Шарля Орлеанского и Франсуа Вийона, загадочно улыбавшегося мне со страниц хрестоматии самоучителя «Благо». И вполне естественно, что мне, самонадеянному переводчику «Марсельезы», не стоило большого труда сделать гигантский шаг через столетия из средневекового вийоновского Парижа в мир Парижской Коммуны, в мир «Интернационала», давно уже пришедшего на смену «Марсельезы» в наши края и зазвучавшего здесь во много тысяч раз громче, чем на своей прародине.

Но, таковы уже пути творческого развития. Для

меня он звучал так, как будто бы его пели бородатые парижские коммунары, среди которых наряду с Варленом (может быть, их даже путали, думал я) — находился и бородатый Поль Верлан, а следовательно, и Артюр Рембо! Конечно же, я воспринимал, осваивал историю революционного движения не столько через труды Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина, сколько через творения гораздо более близких для моего понимания поэтов, ближайшим из которых мне стал Артюр Рембо, в сущности такой же мальчик, подросток, как и я. Тот самый Артюр Рембо, с внешним и творческим обликом которого я был, конечно, знаком и раньше, по книжкам, журналам, по разговорам старшеклассников. Но если для меня, десятилетнего, Рембо был недосыгаемо взрослым, то став пятнадцатилетним, я как бы сравнился с ним, и не было ничего удивительного в том, что однажды я и сделал попытку перевести одно из самых знаменитых его стихотворений:

А — черно, Е — бело, У — зеленое, И — ярко-красное,
О — небесного цвета! Вот так, что ни день, что ни час,
Ваши скрытые свойства беру я на вкус и на глаз,
Вас на цвет и на запах я пробую, гласные! —

так начал я. Но, как ни бился, дело не пошло дальше, и вместо того, чтобы перевести дальше знаменитый сонет, я написал стихи:

Эфиоп ему подал письмо... Адрес был: Ефиопия,
Ставка Негуса, господину Артюру Рембо.
Разрывая конверт, он подумал: Давно уже не был
в Европе я!

Это почерк Верлена!

Прочел он:

«Все ждут твоего возвращения назад. Жду и я
и надеюсь, что жду не напрасно я.
Ты ушел, как изгнанник, вернешься дорогой побед.
Твой сонет, ты наверно его не забыл еще, «Гласные»,
В символ веры своей превратили теперь символисты.
Он вспомнил сонет;
А — черно, Е — бело, У — зеленое, И — ярко-красное...»

Это стихотворение, не вызвавшее особенных откликов, я напечатал много спустя в книжке «Эрцинский лес». Но, не закончив сонета, я вознамерился перевести основную, коронную вещь Артюра Рембо «Пьяный корабль». Тут было все: попытка просто внести точность в известный мне далеко не точный перевод Эльснера, попытка объяснить судьбу Рембо и сущность его творчества, которое, не помню уже с чьей тяжелой руки, было объявлено упадочным, декадентским; попытка внести поправку в высказывания моего друга Вивиана Итина, провозгласившего меня только лишь всего-навсего сибирским Джеком Лондоном. Я не был против этого, но мне казалось мало, — я считал себя, и небезосновательно, причастным не только к уитмено-демократической, но и ко всей европейской культуре. Словом, как бы то ни было, но я взялся за фантазмагорический «Пьяный корабль». Но работа вскоре оказалась прерванной не чем иным, как приближением японского землетрясения. Я хочу сказать, что, заделавшись газетчиком, я, однажды увязавшись с агентами уголовного розыска в ночной рейд по притонам Мокринского форштадта, там-то и обнаружил на нарах одной китайской опиумокурильни непонятный мне листок на английском языке. Естественно, мне захотелось разобраться, что там напечатано. С этого, собственно, и началось изучение английского. То есть сперва я сунулся в словари, но из этого ничего не вышло, и я решил брать уроки. Все это, впрочем, рассказано в стихотворении «Неблагодарность», — там говорится, как я начал учиться английскому для того, чтобы перевести листок, найденный в китайском подвальчике и оказавшийся прокламацией неких буддийских Семи Мудрецов Мира, предупреждавших человечество о близости катаклизма, во время которого земля задрожит, и люди, убегая от наступающего моря, ринутся в горы. Но горы обрушатся на их головы, и не станет воды, и грешники будут пить собственную мочу. Я рассказал, как, переводя вместе

с учительницей этот документ, оказавшийся верным предупреждением будущего японского землетрясения, я начал переводить и некоторые стихи из хрестоматии Манштейна и печатать переводы в газетках «Сибирский водник» и «Сибирский гудок»: гонорарами за эти переводы я оплачивал учительнице ее уроки. Так от французской поэзии я перешел к английской. Перевел «Моряцкое утешение» Чарльза Дибдина, — стихи тоже, в известной степени, пьяно-корабельные: «Однажды ночью шторм ревел, как горы волпы были, и боцман Снасть, жуя табак, сказал матросу Билли: «Ого, норд-вест крепчает, Билль! Ревет-то как, послушай! О, бедняки, мне так их жаль, всех, кто теперь на суше!» Отвлечшись от перевода «Пьяного корабля», я все же оставался верен морской теме и перевел «Ветер Западных Морей» Тениссона, а затем возмечтал перевести из Суинберна те стихи о тропических океанских ночах, которые декламирует Вулф Ларсен из джек-лондонского «Морского волка», но не нашел в Омске Суинберна. Затем помнится мне неточный, но милый моему сердцу перевод последней строфы «Эльдорадо» Эдгара По: «Через валуны холодной луны, вниз через область ада скачи, рыцарь, скачи, ищи свое Эльдорадо!..» Я дерзнул даже перевести отрывок из Шекспира «Неблагодарность», — и за этот мой юношеский опыт, впоследствии переложенный на музыку Свиридовым, я до сих пор получаю иногда скромные отчисления через Управление по охране авторских прав.

Я не решусь доверить даже и этим страницам воспоминаний рассказ о своих чудовищно наглых попытках перевести на английский язык некоторые уличные и солдатские песни и сибирские частушки, скажу только, что, перейдя от французской поэзии к английской, я затем ушел в поэтический фольклор казахских степей. Скитаясь в качестве журнального корреспондента по этим соленым степям, как иссохшим океанам, и зачастую даже воображая себя Артюром Рембо, который

вот так же скитался по Африке, я наслушался немало казахских песен. И слушая, как казахи поют, и расспрашивая их, о чем они поют, я написал «Киргизские примитивы». «Мой муж, хромой Мукаш, ты вчера показал мне кнут. Поеду в город, спрошу адвоката, что надо делать, если бьют», — так звучали эти миниатюры. И еще немало в этом роде. И некоторые из этих стихов я напечатал, вовсе не выдавая их за переводы, но они были включены, конечно, вовсе без моего ведома, в сборник переводов с казахского и получился скандал. Меня в числе других участников этого сборника упрекнули в фальсификации, в подделке, хотя, впрочем, через несколько лет один высокоуважаемый казахский писатель, в одном очень солидном журнале и процитировал эти мои стихи, как фольклор.

Затем пришли времена иные. Предвоенные, военные и, наконец, послевоенные. Те самые послевоенные времена, когда повысился интерес к национальным литературам Советского Союза и литературам стран народной демократии. Тут я по настоянию Сусанны Мар (пользуюсь случаем вспомнить эту русскую поэтессу, кажется, армянку родом, специализировавшуюся на литературах грибалтийских стран) принял участие в переводах с литовского, переводя впервые Межелайтиса. Затем я начал переводить с польского — сначала из Пшибоса, Важека и других современных поэтов, а затем из Словацкого и Мицкевича. Словом, лет за десять я перевел немало старых и новых польских поэтов, начиная с упоминательного Яна Кохановского до фантазмагорической словотворческой фантазии «Зелень» Тувима.

Много чего переводил я. Помню, как почти сразу, вслед за переводами с чешского из Яна Неруды, я, по просьбе и при содействии Эренбурга, перевел стихи Пабло Неруды, чилийского поэта, взявшего себе псевдонимом имя любившегося ему старого поэта чешского. И вслед за стихами Пабло Неруды — «осени конский топот, а за осенью — дух океана», — помню до сих пор начало пе-

реведенного мной стихотворения молдаванина Эмилияна Букова: «Заоблачная земля, к ней глыба Парнаса причалена, качаются музы печально на сонном борту корабля». Вот что как-то естественно и закономерно пришло на смену океаническим пейзажам «Пьяного корабля» Артюра Рембо. А затем началась эпопея переводов с венгерского — от Гидаша до Петефи и принявшего в XX веке эстафету от Петефи Эндре Ади, кстати сказать — автора великолепных стихов о судне, которое продается: «Продается судно! Расшаталась мачта, перегнили снасти, словом, сколько хочешь всякого несчастья!» Помнится, я еще написал в одной из статей об Ади, что это его великолепное стихотворение в какой-то мере — полемическая переключка с «Пьяным кораблем» Рембо, который был Ади, конечно же, хорошо известен: «Продается судно! Видно, в путь отважный хочет оно снова, нового желает рулевого...»

Все, о чем сказано выше, разумеется, далеко не полный перечень того, что я переводил в тот период, когда я оставлял попытки перевести «Пьяный корабль». Но говорится это и к тому, что, переводя на русский язык что-то совсем другое, я не забывал об Артюре Рембо, вспоминал о нем по тем или иным поводам, — будь это стихи Ади, или же стихи Радована Заговича — поздравления ихтиологам, записывающим голоса рыб, или байроновские гимны Океану, или бодлеровские стихи о пьяном матросе, открывателе Америк. Последнее стихотворение, как мне кажется, и предопределило появление «Пьяного корабля». И я не переставал думать, не оставлял своей юношеской мечты перевести «Пьяный корабль» если не лучше, то хотя бы несколько точнее, чем это сделано сперва Эльснером, а затем Бродским и Лифшицем...

И вот, уже во второй половине шестидесятых годов, насколько мне помнится, прочтя новый перевод этого стихотворения П. Г. Антокольским, я, может быть, и позавидовав ему, но пожелав сделать все-таки по-своему,

как мне казалось правильной, снова взялся за это дело.

И, взявшись за него, я довел его, как мне казалось, до конца. Но вдруг оказалось, что это вовсе не то, о чем мечталось. Во-первых, «Пьяный корабль» не уместился в то количество стоп и строф, как в подлиннике, во-вторых — многие образы подлинника потеряли в переводе присущую им многозначность. И я начал переделывать все заново. И не знаю, до каких бы пор я продолжал трудиться, если бы однажды, весной 1972 года, один ленинградский литературовед не убедил меня выдать перевод таким, какой есть, с тем, чтобы внести необходимые поправки и дополнения в корректуру. И я поддался искушению. Но потом литературовед почему-то замолк, а о судьбе моего перевода в той антологии, в которой он должен был пойти, больше не было ни слуха ни духа. И я решил: будь что будет! Пойдет или не пойдет мой перевод в антологии, но я впишу его пока на эти страницы, как бы на правах воспоминаний о том, что волновало меня с детства. Пусть это будет как черновик, — перевод с вариантами, с лишними строками текста, который не вместился в размер, размер, все равно приблизительный, ибо русский стих все равно не передает волнообразную ритмику подлинника, подлинника, который, по крайней мере на мой взгляд, является не только стихом просто французским, но и единственно неповторимым в смысле своих интонаций, стихом Артюра Рембо.

Итак, безо всяких надежд повторить неповторимое, но с самыми лучшими намерениями, вписываю на эти страницы то, каким мне мыслится, грезится, снится стихотворение под названием

Пьяный корабль.

Когда, спускавшийся по Рекам Безразличья, от бурлаков своих я, наконец, ушел, и Краснокожие их всех для стрел в добычу, галдя, к цветным столбам прибили нагишом,

Я плыл, не думая ни о каких матросах, английский хлопок вез и груз фламандской ржи, когда бурлацкий вопль рассеялся на плёсах, сказали Реки мне: как хочешь путь держи!

Я этою зимой сквозь грай приливов неся, к ним глух, как детский мозг, шальная голова. И вот от торжества прибрежного хаоса отторглись всштормленные полуострова.

(И с маху одолев приливов суматоху, к ней глух, как детский мозг, проснувшийся едва, я неся, сорванец, шальная голова, когда от торжества земных тоху-во-боху отторглись всштормленные полуострова).

Шторм осветил мои морские пробужденья, и десять дней подряд, как будто пробка, в пляс, среди волн, что жертв своих колесовали в пене, скакал я, не щадя фонарных глупых глаз,

Милей, чем для детей сок яблок кисло-сладкий, в сосновый кокон мой влазурилась вода, отмыв блевотину и сизых вин осадки, слизнув тяжелый дрек, руль выбив из гнезда.

И окунулся я в поэму моря, в лоно лазурь пожравшее, в медузно-звездный рой, куда задумчивый, бледнея восхищенно, пловец-утопленник спускается порой.

Туда, где, вытравив все синяки, все боли под белобрысый ритм медлительного дня, пространней наших лир и крепче алкоголя любовной горечи пузырится квашня.

Волнистый зев небес и тулово тугое смерча, и трепет зорь, взволнованных под стать голубкам вспугнутым, и многое другое я видывал, о чем лишь грезите мечтать.

Мистическими ужасами полный лик солнца низкого глазел по вечерам очоченелыми лучищами на волны, как на зыбучий хор актеров древних драм.

Мне снилась, зелена, ночь в снежных покрывалах за желто-голубым восстанием от сна певучих фосфоров

и соков небывалых в морях, где в очи волн вцелована луна.

Следил по месяцам, как очумелым хлевом прибой в истерике скакал на приступ скал, — едва ли удалось бы и Мариям-Девам стопами светлыми умять морской оскал.

А знаете ли вы, на что она похожа, немислимость Флорид, где с кожей дикарей сплелись глаза пантер и радуги как вожжи на сизых скакунах под горизонт морей!

Я чуял гниль болот, брожение камышье тех вершей, где живьем Левиафан гниет, и видел в оке бурь бельмастое затишье, и даль, где звездопад нырял в водоворот.

Льды, сребробряклость солнц на пыльном небосклоне, и мерзость на мель сесть, как на кол в пряный мрак в затоне, где клопы грызут драконов так, что эти гады зуд мрачнейших благовоний, ласкаясь, вьют вокруг коряжин-раскоряг.

А до чего бы рад я показать ребятам дорад, певучих рыб в голубизне морей, и рыбок золотых — одни других пестрей... Там несказанный вихрь цветочным ароматом благословлял мои срыванья с якорей.

Своими стопами мне улащала качку великомученица полюсов и зон, даль океанская, когда ее озон вскипал цветами тьмы, в чью желтую горячку я был, как женщина, коленопреклонен.

(Своими стопами мне улащала качку великомученица полюсов и зон даль океанская, вдыхал ее озон златоцветенья тьмы, вентоз ее горячку, я точно женщина, коленопреклонен.)

Когда кликливых птиц, птиц белоглазых ссоры, их гуано и сор вздымались мне по грудь, и все утопленники сквозь мои распоры шли взад пятки в меня на кубрике вадремнуть.

Но я, корабль, беглец из бухт зеленохвостых в эфир

превыше птиц, чтоб, мне подав концы, не вынудили мой лазурью пьяный остов ни мониторы, ни ганзейские купцы;

Я, вольный, дымчатый, туманно-фиолетов, я, скребший кручи туч, с чьих красных амбразур свисают лакомства отрадны для поэтов — солнц лишаи и зоре сопливая лазурь;

Я, в электрические лунные кривули безумной щепкою нырявший где-то там с толпой гиппопотамов по пятам, где пучась лопался под палицей Июля ультрамарин небес, гудящих как тамтам;

Я, за сто миль беглец от взвизгиваний бурных, где с Бегемотом блуд толстяк Мальстром творил, — влекусь я вечный ткач недвижностей лазурных к Европе, к старине резных ее перил!

Я, знавший магнетизм архипелагов звездных! И острова, чей кварц от молний весь пунцов, безумием небес разверзнут для пловцов! Самоизгнанница, не в тех ли спишь ты безднах, о, Мощь грядущая, сонм золотых птенцов!

Но, впрочем, хватит слез! Терзают душу зори, ужасна желчь всех лун, горька всех солнц мездра! Опойно вспучен я любовью цепкой к морю! О, пусть мой лопнет киль! Ко дну идти пора!

И если уж вода Европы привлекает, то — холодна, черна, меж вматин мостовой, в бальзаме сумерек над детской головой, когда дитя, грустя, присев на корточки, пускает, как майских мотыльков, кораблик хрупкий свой.

О, волны, тонущий в истоме ваших стонов, я ль обгону купцов-хлопкоторговцев здесь, где под ужасными глазищами понтонов огней и вымпелов невыносима спесь!

Вот каким вышел у меня этот перевод «Пьяного корабля», произведения, начинаемого и кончаемого упо-

минанием о торговле хлопком, и характерного не только занырянием в экзотику немислимых Флорид, но и погружением в бездну не столь космических, сколь земных магнитно-рудных архипелагов, в чем, по-моему, и заключается не столь астральная, сколь индустриальная суть провидений Артюра Рембо, замечательного поэта, которого никуда не денешь даже не только из XIX, породившего его века, сколько из нашего XX, безмерно возвысившего его столетия.

Та современная моей молодости поэзия, на которой я воспитывался, росла под знаком Рембо. Под знаком либо приятия, либо отрицания Рембо. О прекрасном Рембо мне, ребенку, подростку, рассказывали, будто о герое печальной сказки, такие дорогие мне мудрые пестуны, как Иннокентий Анненский и Валерий Брюсов. С другой стороны, об ужасном, с его точки зрения, Рембо, авторитетно ворча, поведал мне профессор Киевского университета Гиляров в своей книге «Предсмертные мысли XIX века», поведал с брызгливой неточностью, тщательно пересказав по-русски это безобразное, с его точки зрения, произведение — «Пьяный корабль»: «Неразумен тот, кто отправляется в дальнее плавание за поисками обетованной земли». Вольным переводом из Рембо: «Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод! Будем кушать камни, травы, сладость, горечь и отравы!» — угостил меня отец русского футуризма Давид Давидович Бурлюк, который, как я догадываюсь, не однажды декламировал Рембо и молодому Маяковскому, ибо кое-какие интонации не только из Уитмена или из Лермонтова, но и из Рембо мне слышатся в творчестве молодого Маяковского. Бурный протест вызвала у меня попытка Юрия Сопова, сибиряка колчаковских времен, изобразить Артюра Рембо торговцем людьми и слоновой костью, окруженным в Африке рабынями с агатовыми глазами, возвращающимся из Африки спасать Францию в новенькой форме поручика во дни первой мировой войны. А сколько еще

я видел на своем веку попыток изобразить Артюра Рембо не столько революционером, бунтарем, певцом Парижской Коммуны, сколько декадентом, модернистом в самом наинегативнейшем понимании этого слова. И, наконец, я помню, как однажды в Париже одна из милых и скромных французских школьных учительниц сказала мне, что Артюра Рембо отнюдь не следует считать популярным среди современных французских читателей. «Может быть, у вас в СССР он и пользуется такой популярностью!» — сказала она, на что я не мог ответить утвердительно.

Может быть, эти строки вызовут опровержение со стороны французских критиков и вообще просвещенных читателей: «Мало ли что могла взболтнуть Вам какая-то простушка учительница!» — Я буду рад это услышать. Ведь действительно так сказать о Рембо, да и не только о Рембо, могут и многие простушки учительницы, мои соотечественницы. И я-то уж знаю цену известности, особенно международной, всевропейской, и, зная это, я позволю себе закончить данную главу еще одним вариантом перевода предпоследней строфы «Пьяного корабля»:

«И если жажду я воды Европы, так пускай уж — холодной, черной в выбоинах мостовой, где ты, дитя, грустя, присев на корточки, пускаешь, как майских мотыльков, кораблик хрупкий свой!».

НОВЫЕ ГЛАВЫ

Написал книгу. Это я говорю о «Воздушных фрегатах».

Принимаясь за дело, думал, что напишу попросту мемуары, то есть выдам то, над чем когда-то сам стихотворно смеялся: «О, мемуары! На столах появляются самовары и пресс-бювары, на прудах колышатся

ненюфары потому, что пишутся мемуары. О, мемуары!»

Когда-то мне казалось, что я-то уж никогда не возьмусь за мемуары, пусть уж другие пишут эти самые мемуары, а у меня все, что надо сказать о себе, было сказано или еще будет когда-нибудь сказано в стихах. Но, видимо, затем появилась все же потребность досказать все то, что не легло, не ложится в стихи, или, во всяком случае, объяснить все это в назидание потомству. Однако, написав эту книжку, я убедился, что это никакой не свод назидательных воспоминаний или воспоминательных назиданий, а также всяческих житейских правил, то есть никакой не новый «Стоглав», а просто «Воздушные фрегаты». По названию одной из главок. Вот так и озаглавилась та книга невыдуманных рассказов, или новелл, обладающих в каждом отдельном случае своим сюжетом, хотя бы внутренним, новелл, к которым, по завершению труда, уж ничего нельзя прибавить, если не хочешь нарушить некоего внутреннего равновесия!

А между тем как много еще захотелось прибавить и к уже завершеному! Это я особенно сильно ощутил, получив ряд читательских откликов еще на журнальный вариант «Воздушных фрегатов», опубликованный в «Нашем современнике». Так, например, в новогоднее утро сего, 1974 года, раздался телефонный звонок: «Здравствуйте, с вами говорит Трувеллер. Младший брат тех юношей, которые описаны вами в главе «Внимательность Искандера». Да, все это верно, мы из рода того самого герценовского мичмана Трувеллера!» — и слово за словом — целый ряд любопытных, я думаю не только для меня, сведений, касающихся Трувеллеров, принимавших то или иное участие в общественной жизни, в отечественном мореплавании, флотовождении и мостостроении. Конечно, все это имеет отношение если не прямо к Герцену, так вообще к истории нашей культуры. Или еще отклик уже в ином роде: моя добрая знакомая, сотрудница нашей старой омской литератур-

ной артели Е. Н. Андреева прислала мне целый пакет забытых, не упомянутых мной в «Воздушных фрегатах» юношеских моих стихов и газетных статей, а в письме спрашивает, почему я не сказал ни слова об интересном писателе-сибиряке Е. А. Минине. Об Евлампии Минине, выходец из деревни, приютившейся под сенью хвойных лап прииртышского урмана, об интеллигенте из крестьян, ставшем при Советской власти директором одного из омских заводов и написавшем, кроме лирики, еще и целый производственный роман. Действительно, я не упомянул о Минине, как еще и о многих и многих интересных и добрых людях.

И я решил было сделать к тем новеллам все вышеупомянутые и еще кое-какие добавления. Мне даже показалось, что это очень просто! Но, увы, не тут-то было! Вставки, безусловно, ценные и, казалось, отнюдь не лишние, как я ни старался, не вмещались в текст, — они толпились на полях рукописи, как бы не находя себе места в ней! Сперва это просто раздражило и огорчило меня, но затем и встревожило: Что такое! Или я разучился писать?.. Или они, эти вставки, не имеют ценности, которую я в них вижу? — так, в замешательстве, рассуждал я. Но затем понял! Я ведь сам же когда-то написал об этом в стихах, написал и о том, что

творенье творцом
Творится единожды в жизни:
Закончил — и дело с концом!

Иначе говоря, произведение, если оно истинно завершено, уже не дано ни изменить, ни исправить, точно так же, как нельзя исправить собственного происхождения! Прочитированные строчки написаны в «Балладе о Репине». Я старался объяснить, почему Репин, написавший позднее еще много замечательных новых полотен, не мог подправить, подреставрировать уже существовавшее полотно. Я это написал о великом художнике кисти, но теперь испытал нечто подобное на самом себе.

Короче, мне так и не удалось ничего прибавить без того, чтоб не перегрузить эти уже завершённые новеллы добавочным, безусловно ценным, но уже непосильным, невыносимым для них грузом. И я понял другое: нельзя увешивать эти новеллы подстрочными гирляндами примечаний, потому что и сами по себе эти новеллы являются, по замыслу своему, как бы примечанием к моим стихам.

...Так что же мне делать? Может быть, собрав воедино эти дорогие мне отзывы, объединить их, не желающих стать ни вставками, ни подстрочными примечаниями, в целую главу, в самостоятельную «новеллу примечаний»? Ведь есть же произведения в форме писем, романы в эпистолярной форме, есть же увлекательные книги, составленные, в сущности, из одних документов — Синие книги, Белые книги и ещё невесть каких цветов книги! Наконец, есть стихи, — я и сам писал такие! — в виде телеграмм и даже радиограмм. Так, может быть, и способно возникнуть произведение, состоящее как бы только лишь из одних примечаний, чтение которых воссоздавало бы и как бы незримо присутствующий сюжет! Или, говоря другими словами, эти примечания стали бы не менее интересней и самостоятельней, чем породивший их текст! Как, например, уже существующие в природе девятнадцать пушкинских примечаний, — «Замечания о бунте», — к истории Пугачева! Полное смысла и внутренней цельности произведение! Вот создать бы нечто в этом духе!

Но это мечты. Быть может, кто-нибудь когда-нибудь создаст этот новый жанр повести или романа примечаний. А я не ставлю перед собой столь грандиозной задачи. Мне, дай бог, справиться с иным, гораздо менее сложным делом — рассказать уже не столько о себе, сколько о тех, о ком я не успел рассказать подробно. К этому меня обязывает хотя бы один из откликов на «Воздушные фрегаты» — статья новосибирского критика

Н. Н. Яновского, где говорится: «Исследователи, изучающие литературу Сибири, уже не смогут не считаться с теми суждениями о творчестве писателей-сибиряков, которые даны в воспоминаниях Л. Мартынова!» Если так, то действительно надо, не мудрствуя лукаво и не помышляя о том, что из этого выйдет — мемуары ли, новеллы ли, или рассказы, или эссе, — вспомнить еще о многом и многом. Это должно касаться не только одной литературы...

В связи со всем этим мне чудится такая картина:

Я вижу равнину, низменность, усеянную костями мамонтов. Вы читали, вероятно, о таких местах, неоднократно описанных нашими учеными. Но тут дело не столько в палеонтологии, сколько в том, что на этих костях сохранились рисунки, выцарапанные первобытными художниками. И вот, прочтя однажды такое сообщение о мамонтах и художниках, я — по ассоциации, — вспомнил о почти позабытом знакомом художнике Мамонтове, о котором, кажется, коротко упоминает в воспоминаниях, кроме меня, только мой друг «зеркальщик эпохи» Виктор Уфимцев. Кое о ком мы вспомнили. Но сколько еще, уже почти безымянных, как бы уже и не оставивших следа художников, да и поэтов, да и артистов!

Впрочем, может быть, напишу о них уже и не я, а кто-нибудь другой, следующий ли своей дорогой, или, как бы по моему следу идущий, побужденный моими воспоминаниями.

Словом, как это будет — не знаю. А пока что обо всем, что написано или будет написано, знаю лишь одно:

Написана книга,
И больше ни слова
Ты к ней не добавишь,
Ты к ней не припишешь...

В этом стихотворении, написанном четверть века назад, и, кстати сказать, редко цитируемом моими критиками, говорится:

И новое солнце встает на востоке,
На западе новое солнце садится,
И хочешь добавить ты новые строки,
Которым пришло уже время родиться.
И новые птицы поют по дубравам,
В полях поднимаются новые травы,
И хочешь добавить к написанным главам
Все новые главы, все новые главы.

СОДЕРЖАНИЕ

О прозе Леонида Мартынова. <i>Валерий Дементьев</i>	3
МОЯ ЛАДЬЯ	9
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ	15
НОВЫЙ ДЖЕК	29
КАК МЫ ПИЩЕМ?	37
ЛУКОМОРЬЕ	44
МАЛИНОВЫЙ ЗВОН	54
ПУТИ ПОЭЗИИ	60
ЛЕРМОНТОВСКАЯ УЛИЦА	69
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА	74
НОВЫЕ ГЛАВЫ	87

Леонид Николаевич Мартынов

ПУТИ ПОЭЗИИ

Редактор *И. Н. Фомина*
Художник *В. П. Богданов*
Художественный редактор *Э. А. Розен*
Технический редактор *Л. М. Беседина*
Корректор *Т. В. Новикова*

Сдано в набор 5/VI-74 г. Подп. к печ. 12/III-75 г. Ф. бум.
70×90¹/₃₂. Физ. п. л. 3,0. Усл.-п. л. 3,51. Уч.-изд. л.
4,27. Изд. инд. ЛХ-751. А09258. Тираж 20 000 экз.
Заказ 513. Цена 18 коп. Бум. № 2.

Издательство „Советская Россия“.
Москва, пр. Сапунова 13/15.

Сортавальская книжная типография Управления
по делам издательств, полиграфии и книжной торгов-
ли Совета Министров Карельской АССР. Сортавала,
ул. Карельская, 42.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15. Издательство «Советская Россия».

В серии «Писатели о творчестве» готовится книга

Ю. Трифонов. Продолжительные уроки.

Что главное в процессе создания художественного произведения, какова роль фактов и вымысла, как соотносятся в литературном произведении писательская фантазия с «грузом материала», какова роль художника в отборе и авторской оценке жизненных наблюдений,— это далеко не полный перечень вопросов, которые поднимает автор в этой книге.

18 коп.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»